

В.В. Розанов

О подразумеваемом смысле нашей монархии

Мотивом, ближайше толкнувшим меня написать это рассуждение, были два "отношения", попавшиеся мне под руку во время службы в Государственном Контроле, в его Департаменте железнодорожной отчетности: одно - о Двух погашенных (перечеркнутых) герб, марках, обе, стоимостью в 1 р. 60 коп., за подписью начальника отдела Генерального Штаба, и - другое, Высочайше скрепленное, о покупке нескольких сажен земли для расширения склада каменного угля Николаевскою жел. дорогою, тогда находившеюся во владении Главного Общества Российских жел. дорог. Я, в составе других чиновников, ревизовал расходы Главн. Общ. Росс. ж. дор., - относимые на облигационный капитал, по коему приплаты, в случае недовыручки, производились из средств казны. Было злоупотреблением самое существование этого Гл. Общ. Росс. ж. д.; была более, нежели только странною, передача ему же. частному обществу предпринимателей, доходной и на средства казны построенной Николаевской линии; наконец, когда произошел выкуп, то казна оказалась вынужденною переплатить около четырех миллионов сверх стоимости, проставленной в договоре, в силу одной перестановки слов в его тексте, каковая перестановка была испрошена Гл. Обществом, и когда производилась, то никто не мог предвидеть ее значения. В силу этой перестановки такой-то "процент отчисления" стал относиться не к данной сумме, как первоначально было, а совсем к другой, гораздо большей. Я передаю смысл: тогда это место договора, синтаксически очень сложное, читалось с изумлением всеми чиновниками Контроля; все с изумлением видели, что как будто нет разницы, сказать ли так, или - этак. От этого "и согласились" в свое время. Но авторы проекта перемены "знали, в чем штука", и теперь при выкупе потребовали приплаты в четыре миллиона, которые, с изумлением и негодованием, но все-таки уплатили Главному Обществу. Между тем годовой бюджет всего Госуд. Контроля в России равнялся (в 1894 г.) именно 4 500 000 руб., т.е. Обществу хищников сразу было выплачено, по чиновническому недосмотру, столько, сколько в год получали жалованья все контрольные чиновники во всей России!! Мелочи - видим, ушли в них с головою! Большого - не видим, не замечаем, не обдумываем даже. Ибо мелочей - такое количество, что еще раньше, нежели их "все пересмотреть", человек, служащие, чиновники, большие

чины, наконец огромные чины и даже все "правительство" положительно мертвы от усталости!! Мертвы - и не видят, не осязают, если даже вся Россия "заваливается с того боку"...

Это - крушение страны; "совершенно честное" крушение, наконец "в высшей степени трудолюбивое крушение" - от недостатка собственно метода.

Метод этот ввел Сперанский. Он именуется "чиновничеством" или "бюрократией". Метод этот - не русский; просто - это метод всей новой Европы, новой европейской государственности. В ту пору, в 1894 г., он сделался для меня как бы кошмаром, о котором я денно и ночью думал. Все в обществе и печати заняты были чиновниками, тогда как надо было поднять вопрос о чиновничестве. Что такое? откуда? вечно ли необходимо? Были ли чиновники в Риме? в монархии Карла Великого, теперь - в Англии? Если нет, то чем они заменялись и как шло все дело, как совершалось управление страной? Туча вопросов... Гнались, с дубиной и насмешкой, за злоупотреблявшими чиновниками, тогда как в выкупе дорог переплатили 4 миллиона не от злоупотребления, а оттого, что все чиновники полегли как мертвые от усталости, "погашая две марки в 1 р. 60 коп."!! Дело — в методе, а не в воровстве. Дело - именно в мелочах, в подробностях; и в том, что - ни времени, ни отдыха, ни глаза, ни ума не остается для громадного! для самого большого! от чего все зависит!!

Представьте себе 1 000 000 муравьев, и дайте им задачу - построить Эйфелеву башню.

Они будут все так же бегать; носить соломинки; перетаскивать беленькие яички. Но, очевидно, никогда не выстроит им Эйфелевой башни! "Эйфелева башня" - государственность в истории. Эта, положим, "громада меж тремя океанами", наша Россия. Кто же ее строит? Убийственный ответ: никто!!

"Живется", "можетя", "терпитя", - и еще сотня бытовых поговорок, которыми можно отмахиваться, когда дело идет о телеге или курной избе, но не когда дело идет о России! Да и не об ней одной: это - положение всех государств в Европе! "Крадут" - и, конечно, плохо; но когда не "крадут", - то лишь немногим лучше: ибо разваливается все, крушится естественной старостью, естественной слабостью. Все крушится, ибо идеи целостного - нет ни у кого.

До известной степени, - она есть у людей, стоящих в стороне и не принимающих в строительстве никакого участия; у людей частных. Мысли, меня занимавшие (и здесь изложенные), никому решительно не приходили на ум, и всего менее - Третью Ивановичу Филиппову

(государственный контролер), задыхавшемуся каждую среду от "приема" человек 100 "по делам службы", а ежедневно тоже от "докладов своих чиновников" по делам также "службы". "Службы" так много, что решительно у всех ускользает из глаз, что "она вообще не нужна". Т.е. эта служба, состоящая в "докладах" и "приемах" и "погашениях двух гербовых марок". Могло это придти на ум "человеку в стороне", который немножко, как Аббадонна, "служил и проклинал"!.. Тогда вдруг становилось ясно, что "мир не так устроен", - вот этот "служебный мир". Ну, - а как? У меня нет ответа. Ни у кого нет ответа.

* * *

Мне было совершенно ясно, что вопрос - не в порицаниях бюрократии, а в ответе, чем ее заменить. Пока не найдено, чем - терпи то, что есть: это уж было простой честностью в положении. Помню, я очень работал тогда мыслью над иезуитским орденом: умеет же он достигать своих целей? В сущности, и 4 потерянных миллиона, и две парки на полисах в Узун-Ада, были пустяки: важно было, что государственность вообще не достигает своих целей, не осуществляет свои задачи, как вот, напр., умеет же осуществлять свои задачи иезуитский орден. И тогда, - как он устроен? Почему достигает он, а не мы? Иногда мне казалось, что вопрос - не столько в бюрократии, в этом сонме чиновников, а в том, как она поставлена? Мне казалось, что она имеет неправильное положение в государстве, стране, отечестве. Мне она казалась недостаточно свободною в выборе средств; и, с другой стороны, - слишком свободною в постановке целей. Мне казалось необходимым совершенно отделить цели от средств: бросив все средства - бюрократии, а цели - сосредоточив в свободном, неизмеримо вознесенном, лице Монарха. Этот последний, как я комбинировал в себе, - есть страж горизонтов, так сказать - мировой компас корабля-истории. А бюрократия около него - кочегары, плотники, механики, матросы. Они - даже и не заглядывают "на мостик"; а он - никогда не спускается "с мостика". Теперь - все смешано: его зовут вниз, "в машину"; и совлеченный туда - он вовсе опускает из виду, опять от усталости и недостатка времени, - ход и направление корабля. В силу этого смешения функций, корабль (история) - никак не идет, или идет "Бог знает куда".

Сравнивал я также частную деятельность, частную предприимчивость с государственностью: первая, как известно, всегда удачнее, по крайней мере, деятельнее, энергичнее, страстнее, чем вторая. В чем тут дело? Личный барыш, личная заинтересованность, притом в достижении результата, а не

заинтересованность только "в отличном ходе" и "блестящем виде". Это - одно. Второе: всякий служащий в "частном деле" сейчас выбрасывается вон, как только перестает служить "делу", а служит "себе", обращая в свое орудие "дело". В государстве совершенно наоборот: 99 из 100 чиновников служат "себе", а "делу" отдают лишь формально-неизбежное, отдают ленивую и бездарную работу, а не старание и талант. Вся чиновная работа вообще бездарна, бездарна по существу и принципу; она вся ленива, формальна, бездушна. И от того, что всякий "определенный на место чиновник" в сущности вовсе несмещаем, если только он грубо и опять же формально не совершил вины или преступления. Но он "преступления" не совершает, но ничего и не делает. Такой-то солдат, положим, не "дезертир", но зато он "не стреляет". Тогда - армии нет. Вот так и чиновничество: в 99 процентах оно, с одной стороны, есть, а с другой стороны - его нет: и государство, при огромной видимости, существует почти фиктивно, существует миньютюрно. Собственно, вся страна расслоилась на обывательство и чиновничество, - причем, "чиновничество" приобрело все качества "обывательщины" же, но только в мундире, с светлыми пуговицами, и на содержании у тех подлинных обывателей. Обыватели привилегированные - вот чиновники; не чиновники - это обыватели без привилегий.

Средство против этого есть: обратить 99% чиновничества в "служащих по найму" и смещаемых без всякого проступка, просто за недостаточную энергию и талант работы, как всякий рабочий. Тогда "чиновничество" сузилось бы до немногих сотен "управляющих", - вместо теперешних десятков тысяч "служащих", т.е. "по утрам сидящих на казенном стуле".

* * *

Я передаю свои мысли тогда... Замечу, что "чиновника" не устранила и Г. Дума. "Все осталось по-старому": после 17-го октября совершает государственную работу все тот же серый, тусклый "письмоводитель" и "столоничальник", до которого Дума никогда не сможет коснуться, для коего она не имеет ни щупалец, ни щипцов. "Чиновник" вообще существо метафизическое; это - совершенно серьезно; он "Асмодей" и "демон", гораздо значительнее и волшебнее, чем какого пел дворянин и гусар Лермонтов. Но оставим... Пусть читатель читает самую статью. Несмотря на то, что 1895 г. далеко не был "монархическим" в печати и обществе, - несмотря на то, что в статье моей принцип "монархизма" ставился так высоко, точнее - так религиозно, как он не ставился никогда у нас со времен первых славянофилов, - статья моя была признана "вредною";

и уже сверстанная и готовая к рассылке подписчикам июльская книжка "Русского Вестника" (за 1895 г.) была арестована. Тогда я отправился и имел первое свидание с Конст. Петр. Победоносцевым, - который меня знал через С.А. Рачинского (автора "Сельской школы"), его друга "на ты". Через дежурного чиновника я послал П-ву книжку "Русск. Вестн." со статьею, и с объяснением, что она вырезана явно по какому-то недоразумению, которое желательно бы рассеять и устранить. П-в не выходил с час: статья им была вся прочитана, не исключая и примечаний, - и при печатании здесь я отметил черною линейкой сбоку места, где он отчеркнул синим карандашом места, о которых намерен был говорить. Вся его беседа была - как старого профессора (на нем и черный сюртук был не первой свежести), - с исключительным интересом к тем, к предмету, - без всякого оттенка "министерства". Ни в ком я не встречал так мало чиновника: П-в был совершенно частный человек. Вероятно, таким помнят его и все знакомые. В особенности его заняла мысль о бессилии государственного механизма (бюрократии), - который в статье я сравнивал с опрокинувшимся паровозом, у которого колеса еще вертятся, машина "идет", а сам паровоз никуда уже не идет. Приводя многие иллюстрации из западной тогдашней жизни, мне неизвестные, - он говорил, что "все правительства находятся в отчаянном положении, так как работа, ими производимая, действительно бесплодна для народа, бесплодна вообще для чего-нибудь: и кидаются они - туда, сюда, но кидаются все в той же плоскости, по которой совершилась уже вся их прежняя работа, громоздя на старые не везущие учреждения - министерства, канцелярии - новые, но которые, повторяя в себе тот же дух, те же приемы - так же попусту работают"... "А что вы поделаете?"... "Правительства видят, что что-то надо делать, а что именно - не знают"... "И выдумывают новые и новые формы, новые и новые органы, надеясь, не поможет ли то, когда не помогает это"... (На мои слова о социализме): "Не скажите! На сколько социалисты критикуют государственность - они правы: для народа правительства ничего не делают, и не умеют ничего сделать. От этой-то действительной слабости правительств домогания социалистов и получают свою силу, свое влияние на народ"... (По поводу мест в статье, что бюрократия заместила власть монарха: "Конечно" (и он приподнял старческое колено - нога на ногу - и ударил по нему обоими огромными руками, сложив их ладонями): "Государь только припечатывает то, что мы ему подносим"... "Все рассуждения ваши правы, - но вы знаете наше общество, готовое все поднять на зубок. Что вы говорите серьезно и с желанием принести серьезную пользу - того не заметят; а что вы приводите как примеры смешного и глупого - подхватят, разнесут и предадут смеху то самое, что вы читаете"... "Механизм падения

монархий вы правильно указываете: но не берите наши дела в пример, а объясняйте этот механизм этого падения на западных государствах". Кончил он советом, - переделать статью, т.е. "на западных все примерах"... Но я уже утомлен был, раз написав на эту тему, - и мне не "смоглось" перерабатывать вторично.

* * *

Теперь я не сказал бы многого, в статье сказанного; не сказал бы особенно отдельных выражений, но по местам - и целых страниц. Вообще с 1895 года так - много переменялось, - переменялась особенно наша психология, что как-то самый тон статьи странен, чужд уху, уху и авторскому. Но я думаю - есть в ней мысли верные. В ту же пору, - пору самодовольной и единовластительной бюрократии, - статья и совсем была права и уместна. Теперь, когда бюрократия "села", - я вставлю две о ней заметки, отвечающие, по моему, нашему времени: 1) бюрократия все-таки очень много сделала и делает. Правда, вперед она государства и не ведет и не может повести. Но когда в статье, я ссылаюсь на Альфреда Вел., на Карла Вел., - то смиренный почтовый чиновничек может сказать: "Позвольте, ваш Альфред Великий не будет доставлять писем на дом, а я - доставляю". "История - не только движение вперед, но и - status quo, без коего невозможна гражданственность, удобства, комфорт обывателя, жизни, городов, губерний, целой России. Этого не сделает ни Альфред Великий, ни - писатели. Не сделают баре, не сделает ленивый обыватель. Это сделаем мы, серые рабы серой действительности. Мы вовсе не выдуманы и не явились в истории, как Deus ex machina [Бог из машины (лат.)]: мы - нужны, и жизнь без нас никак не могла бы обойтись. Иное дело - поставить нас иначе, другим способом организовать: это - уже не наше дело. Ведь мы только служим. И мир без нашей службы не может обойтись, по крайней мере теперешний мир. Ну, а в работе, службе - и кой-какая добродетель". - Дайте, все-таки, орден, - сыронизирую я над Мефистофелем. Но отвергнуть все-таки некоторую правоту и большую силу Мефистофеля - никак не могу.

"Архей" новых времен...

Ну, пусть читатель думает о нем, что знает. Статья перепечатана с вырезанной в 1895 г. статьи без всяких поправок и сокращений, - копировально. И издается для "сохранения памяти" в очень офаниченном числе экземпляров. Линейки сбоку - пометки доброй памяти К.П. Победоносцева. Должен заметить, что статья вызвала большое

сочувствие в покойном моем друге и покровителе Н.Н. Страхове. Вызвала сочувствие и других, но дорого было сочувствие только Н.Н. С-ва. Он ее и корректировал, ничего не изменив.

СПб., 25 августа 1912 г.

Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы...

Пушкин

Вообще говоря, есть представление, что Главный Штаб наш занят непрерывным изучением условий защиты своего отечества и приемов нападения; что это - многоголовый, многоглазый, дорого оплачиваемый механизм, имея который Россия может дремать спокойно, без опасения быть разбуженной не вовремя лязгом оружия и, главное, не быть захваченной врасплох. Имея это горделивое и успокаивающее представление, я был очень удивлен, когда - в один из тревожных дней после кончины покойного Государя - в моих руках очутилась бумага следующего содержания:

"ГЛАВНЫЙ ШТАБ"

Отдел по передвижению войск. 24 октября 1894 г.

В Департамент Железнодорожной отчетности

Вследствие отношения Департамента от 8-го сего октября за № 10 621, Главный Штаб имеет честь уведомить, что требуемые для приложения к полисам о застраховании скреплений Новороссийского завода, отправленных в Узун-Ада, две гербовые марки по 80 коп., представлены Правлением Российского общества страхования кладей и погашены 20-го сего октября. Начальник отдела Генерального Штаба генерал-лейтенант Головин". Я мысленно сосчитал: если 10 621 номера исходящих бумаг разделить на десять истекших месяцев года, то получится 1061,- число бумаг, отправляемых в месяц. И, если сделать совершенно точный расчет по дням, получится на один день ($10\ 621 : 250 = 42,1$)-42 бумаги*), обдуманые, составленные, переписанные, отправленные каждая вместо особого своего назначения. Я очень смутился за генерал-лейтенанта Головина; я подумал: он должен страдать неврастенией. Но это смущение было лишь на минуту: я почувствовал страх за себя, за свою маленькую уютную квартиру, за крепость ее стен; я стал бояться австрийских и прусских пушек. Мысль, что две гербовые марки приклеены к страховому полису в Узун-Ада, не могла меня

успокоить...

* Из 294 дней года здесь исключены 44 воскресенья, но не исключены остальные, еще многочисленные "табельные дни" и большие церковные праздники.

I

Потоком не прерывающимся, в летнее жаркое и зимнее холодное время, в года ненастий исторических и "благорастворенного воздуха", эти бумаги текут, текут... Красивый почерк, предупредительно-вежливая форма, периоды всегда несколько запутанные, но при усилии понимаемые - циркулируют в необъятной Империи. Нет бурь в этом течении: оно невозмутимо, как течение самого времени; нет порогов, рывков, опасных изгибов в нем; ни одна страсть в нем не отразится, ни гнев, ни страх, ни сострадание, ни радость. Россия оплакивает Государя; одна струна в циркулирующем токе звучит, что 1 р. 60 к. с кого нужно и где нужно взысканы. И, кажется, не только царствование сменись, сменись сам век, пади монархия и настань республика, возмутись отчаянием или залейся радостью вся земля, - почерк не дрогнет здесь, тусклая речь не станет ярче, ни одна бумага не ускорит, ни одна не замедлит своего течения. Мыслью своею я невольно перенесся к началу нашего века. Там, за рубежом его, в эпическую эпоху от Петра и до Екатерины, - какое море праздности и груды великих дел; как хорош этот "великолепный князь Тавриды"; как хороша "мудрая" и "мать отечества"*, литераторша, воительница, придерживавшая за рясу Платона, переписывавшаяся с Дидеро; как чуден Петр со своими "викториями"; и этот Крым, так смело** взятый, этот Севастополь, так зорко*** высмотренный: и - битвы, походы, разоренная Польша, обрубленная Скандинавия, и Русь над всеми ими, гордая, властительная, нелепая, прекрасная. Как весело смеялись в тот век; какая чудные писал оды Ломоносов; какие мускулы были у Орловых. Потемкин и Суворов встречаются на лестнице Зимнего дворца:

* Титулы, поднесенные Екатерине II Сенатом.

** Сравни мысленно ведение дел при занятии Крыма с аналогичною робкою попыткой в недавнее время овладеть Кульджей.

*** Сравни мысленно с нерешительными и неумелыми попытками в наше время выбрать место для военного порта в Балтийском море.

- Чем наградить мне вас? - говорит фаворит.
- Меня может наградить только Императрица, - отвечал гордо* покоритель
Измаила.

* За этот ответ, которого до конца жизни не мог забыть герою Потемкин (и герой знал, что ему это не будет прощено), он несколько лет должен был измерять версты в Финляндии, или что-то в этом роде. Мы указываем на живость и силу страстей, дурных и благородных, того времени.

Великие, милые тени, гордые воспоминания нашей родины. На рубеже двух веков вырастает фигура Сперанского. Тень это или человек? Верно он был лимфатичен; и, конечно, на плече Орлова росло больше мяса, чем на всей его тощей фигуре. Что бы он стал делать около Петра? - тот рассмеялся бы над ним гомерическим хохотом. Зачем бы он был Екатерине?..

Уже в 1802/03 году он "считался первым пером" в петербургских канцеляриях*; молва о нем неслась из улицы в улицу, из-под одних темных, сырых сводов - под другие. Как удивителен, нов для всех был этот владимирский семинарист, изучавший логику и гомилетику, оставивший в назидание потомства книгу о "Правилах высшего красноречия"**. Грубые мужланы в золоченых кафтанах и пудренных париках не понимали, как можно было взамен вещи сделать объектом своим слово, и работу над вещью заместить обдумыванием этого слова, с надеждою, и очень вероятною, получить тот же результат и даже иногда больший. По крайней мере, этот результат был больше упорядочен и, главное, с помощью новой цепи слов - он был способен к дальнейшему развитию, к развитию бесконечному почти, насколько человек неистощим в комбинировании слов. Предметы, факты, - эта неудобная, косная действительность - заменилась всюду гибким, подвижным именем вещи, понятием ее; их неподатливая связь, эта связь само-живущая, заменилась логическою связью, пассивно послушною в уме обдумывающего. Немного усилий над этою связью, труда над этою запутанной бумагой, - и все изменится, потечет по новому руслу, к целям другим, которые нужны, которые ласкают ожидания и так живо бодрят труд, наконец не тягостный, не грязный и вместе так ярко, так очевидно успешный...

* Замечает его биограф, барон Корф; см. его "Жизнь графа Сперанского".

**"Правила высшего красноречия. Сочинение Михаила Сперанского. СПб.,

1844". Это сочинение было написано Сперанским на 21 -м году жизни и опубликовано потом одним ревнителем его памяти.

Сперанский был волшебником, открывшим этот секрет, он был Гуттенбергом новой администрации. Поля сырые, хмурое небо, труд до мозолей и подчас - зуботычины, все эти "элементы варварства прошлого века" отошли в предания, как перед книгопечатанием отступили в предание *stilus* древних римлян или палочка, обмокнутая в краску, старых летописцев-монахов. Как и последний канцелярист, царственный обладатель невозделанного полумира был увлечен и очарован новым изобретением, - и не только в силу его великих обещаний, но и особенностей своей натуры: Гамлет по характеру и в положении Агамемнона, он чувствовал потребность уклониться, уйти куда-нибудь, подумать, отдаться мыслям, - и мыслям не всегда относящимся к этому неотложному делу. И вот теперь - эта положенная на стол бумага не видела его смущения; не укоряла даже про себя за странное и прихотливое течение мысли; она не торопила даже; она не протестовала, когда решение было уклончиво, не ясно, и предоставляло поступить кому-то там, далеко, на месте - так и этак и иногда совсем никак. Важно было, что нежная и робкая духовная организация не имела около себя ничего резкого. Действительность... она не кричала более, что ей нужен ответ; не ругалась, не дралась, не лезла на нос; опасный и неприятный санюлот истории, она была отведена несколько в сторону, на почтительное расстояние, дабы не мешать озабоченной мысли, не смущать ее, не рассеивать; и, наконец, для того, чтобы за днем забот не следовала встревоженная ночь*.

* При Екатерине или Петре, вообще при государях этого типа, деятельность Сперанского была бы или невозможна, или не привилась бы, не пустила корней в будущее, и даже едва ли была бы очень заметна; приравнялась бы к деятельности, напр., кн. Вяземского во 2-ю половину XVIII века. Мы хотим сказать, что таланты Сперанского в высшей степени отвечали, гармонировали недостаткам Александра I, как бы заменяли их собою, и делали неощутимыми. Вот отчего, в этот момент появившись около трона, они так привились к нашей истории.

"Он пал, но дело его осталось", - говорит история о многих своих героях и повторяет у нас о Никоне, могла бы еще с бульшим правом повторить о муже пера и бумаги. Сперанский пал, но новые дворцы воздвигались и населялись новыми жителями. Яркие люстры в них не горят, музыка не оживляет их своим громом, красавицы не входят и не выходят из них: в 11 часов утра и в 5 вечера ползут темные тени к этим дворцам и обратно от них, - угрюмые, сосредоточенные, с каким-то выцветшим, неопределенным цветом лица, без улыбки, без слов, без боли, гнева, любви. Как необозримы их толпы: в два указанных часа население Петербурга точно удваивается, улицы запружены, конки изнемогают, сани, извозчики - все облеплено. И как необъятны эти дворцы!

- Чей это дом? - спрашиваете вы робко швейцара, едва охватывая глазом необъятную махину в три этажа*.

* На Мариинской площади, между Большой Морской ул. и Мойкой.

- Министра государственных имуществ.

- То есть Министерство государственных имуществ? - думаете вы поправить.

-Нет, только квартира министра.

- То есть, конечно, с канцелярией? - все еще недоумеваете вы.

- Нет, канцелярия министерства - вот, напротив.

И, оглядываясь через Мариинскую площадь, вы с изумлением видите серое трехэтажное здание, более массивное, чем Московский университет, я хочу сказать - чем новое его здание, для трех факультетов выстроенное, и столь знакомое и дорогое России...

- "Как длинно вот это здание..." Канава, кажется, Фонтанка или Мойка, изгибается - и по ее берегам, загибаясь туда и сюда, тянется каменной веревкою здание. Товарищ мой быстро соскочил с извозчика и юркнул в крыльцо.

- Куда вы ходили? - спрашиваете вы его через минуту, видя возвращающимся с книгой.

- Да это же Канцелярия министерства финансов, где я занимаюсь. "Канцелярия..." Как это ново для провинциала, который привык видеть канцелярию при чем-нибудь, - при гимназии, около округа, возле университета. Здесь канцелярия ни при чем не стоит, ни к чему не приделана. Все к ней приделано, она автономировалась, стала аутокефальна - и вот в чем

дело Сперанского, тайна его исторического властительства, властительства даже из-под земли, из гроба; важнейший факт веков истекшего и наступающего.

Автономировалась и овладела, - и отечество стало обладаемым...

Ш

- Николай Федорович, да пойдете играть в шашки, - говорил, отворив дверь класса, молодой, 32-летний инспектор прогимназии в Брянске, обращаясь к старому преподавателю.

- Да как же, Сергей Николаевич, ученики-то? Мы вот непрерывные дробы...

- Да, Александр Максимович (надзиратель) посидит с ними, - отвечал, не смущаясь разинутыми ртами учеников, начальник школы, присланный из административного центра. - И уводил к себе, в квартиру, за шашечный стол, преподавателя.

Это было, - точнее, так бывало, - лет 11-12 назад, в маленьком уездном городке, однако не глухом, на железной дороге, с громадными заводами в окрестностях. "Городок" уплачивал 3000 рублей субсидии в год; городок ходатайствовал, нельзя ли субсидию взять обратно, ибо - "нужда", "налоги", "упавшая торговля", а из учеников прогимназии кто ни поедет продолжать курс в соседнюю полную гимназию - вернется обратно, исключится за неуспешность, и, вообще, окажется к учению дальнейшему вовсе не подготовленным. Был, кажется, даже случай перевода обратно ученика из пятого класса в четвертый, в Орле или в Смоленске. Дети мещан, лавочников, мастеровых, 3—4 мальчика из мелких, чиновничьих семей, выучивались тройным правилам и дробям, глаголам греческим, латинским, французским, немецким, африканским и австралийским рекам, консулам и эфорам, папе Григорию VII и Анне Болейн... Родители приходили, недоумевали, молили; родители негодовали; все им смеялись в ответ: "Что же можно сделать, когда уже все скреплено подписом"*, и ваши тысячи припечатаны к ненужному делу, и к вашим детям припечатаны им ненужные недоуменные папы и консулы, и мы сами к этим консулам припечатаны, и вот, видите, скучая вами и ими, - развлекаемся в шашки...

* Канцелярский термин.

Между прочим, в прогимназии этой была богатая библиотека, которую мне пришлось ревизовать*: тут были необозримые томы "Dictionnaire de chimie", кажется, Вюртца; какие-то книги по французской технологии, с образцами шерстяных материй, приклеенными на самых страницах текста; "Mecanique celeste" ["Небесная механика" (фр.)] Лапласа; исторический словарь французского языка - Литтре; чудные, с гравюрами прошлого века, фолиантные издания Virgilia, Овидия; "Thesaurus linguae graecae", одно занимавшее нижнее отделение целого шкафа и стоившее что-то между 600 и 900 рублей. Конечно, все эти книги никогда не трогались с места; меня удивило, что в библиотеке не только нет Пушкина (тогда не находившегося в продаже), но и везде продававшихся - Островского, Достоевского, Л. Толстого. Я предложил выписать последних. "Но ведь это - беллетристы только**, а не писатели", - разъяснил Совету любитель шашек и французского языка, и решительно воспротивился их приобретению в библиотеку.

* После смерти библиотекаря, Ал. М. Иванова.

** Словесность изящная, французская и немецкая, были в полном объеме представлены в библиотеке, до Массильона французской литературы и философа Мендельсона - немецкой. Отсутствие в библиотеке русских классиков товарищи объясняли мне чрезмерным пренебрежением начальника школы к русской литературе, как им казалось - "от блестящего домашнего воспитания, им полученного" (он был из очень богатой семьи и гимназический курс проходил дома). Но, за нечитаемостью никем французского и немецкого отделов библиотеки, ясно было, что их *raison d'être* заключался в мелком тщеславии, в тщеславии на час, утонченно образованного администратора, желавшего показать педагогическому совету в день обсуждения вопроса о том, какими книгами следует пополнить библиотеку, степень своей ознакомленности с иностранной литературой. Богатство средств, расходовавшихся на библиотеку, объясняется тем, что классы прогимназии открывались постепенно, а ассигнуемая на содержание ее сумма шла с первого же года в полном составе, и громадный остаток перечислялся в так называемые "специальные средства" заведения, которые им и расходовались по усмотрению, лишь с одобрения учебного округа.

Когда прогимназия была закрыта*, мне было любопытно знать судьбу этой богатейшей, редкостной, если не по пользе, то по роскоши, библиотеки:

ее последний инспектор, И.И. Пенкин мне сообщил, что она была свалена без счета и проверки в чуланы местного городского училища**. И между тем достаточно было, выйдя за черту города, пройти верст 10-12, чтобы встретить деревню без букварей, без Евангелия, без учителя хотя бы в образе старого дьячка, отставного солдата...

* За иссякновением учеников: родители, не зная, как справиться с прогимназией, перестали отдавать в нее детей, - отвозя их прямо в ближайший город, в полную гимназию. Случай такого закрытия - не единственный: так с первого июля 1895 года уже испрошено в законодательном порядке разрешение на закрытие прогимназий в Ефремове, Белеве и Касимове.

** Прогимназия не имела собственного здания и помещалась в квартире; при закрытии поэтому имущество ее должно было быть куда-нибудь перенесено; и перенесено было, по распоряжению высшего начальства, в городское училище, подведомственное тому же министерству.

Ежегодно ассигновывалось на прогимназию около 14 000 р., если из этой суммы исключить 3 тысячи, даваемые городом, то останется еще 11 тысяч государственных средств, которые извлекались из этого самого населения, без букварей, путем не менее, чем двадцати двух разрешений на продажу "питей"*. О, благородный Вюртц, ты, может быть, не писал бы своего "Словаря", если бы предвидел столь чрезмерное к нему почтение; и вы, Mommsen und Markwart**, менее восхищались бы своим монументальным трудом, если бы знали, куда и для чего судьба иногда занесет его.

* Это всегда следует помнить, и особенно следует припомнить теперь, ввиду начавшихся толков об издании закона "об обязательном обучении" (см. наивные статьи г. Сент-Илера в "Новом Времени" от 14 и 15 декабря 1894 г., благодушно и бессознательно повторяемые и в остальной прессе).

** Авторы волюминозной "Истории римского права", на немецком языке, тоже бывшей в библиотеке. Сверх этого я припоминаю, что в классической четырехклассной прогимназии были специальные словари к отдельным классикам, напр. к Цицерону, - чтение которого даже не начиналось в учебном заведении. Этот "Словарь к Цицерону", как у нас бы "Словарь к Пушкину", был в нескольких томах.

IV

...3-го октября, в час дня, в актовом зале Петербургского университета происходил блестящий диспут: молодой и популярный профессор государственного права, г. Коркунов, защищал диссертацию "Указ и закон"; оппонировали ему профессора Сергеевич и Бершадский, из них первый - уже не первое десятилетие признанное светило русской юридической науки. Иного странного, однако же, услышала здесь публика: из возражений г. Сергеевича оказалось, что, написав толстый том о двух маленьких словах, докторант нигде не дал определения главного понятия, им проводимого в книге и отстаиваемого - о соединении властей; и на прямой вопрос оппонента, что он под этим разумеет, краснея и путаясь, он не дал ответа. Приводил он в пример власть римских консулов, но здесь скорее одна власть разделялась* между двумя человеками, нежели два человека соединялись для выполнения одной власти. Проф. Сергеевич торжествовал; он путал и путал докторанта, и оба, наконец, они запутались на определении понятия "власть": был, между прочим, поставлен вопрос о "власти" гипнотизера над гипнотизируемым, названы были индусские факиры, и оговорено было, что "власть" их - власть, но так как буддизм, будучи супранатурален - недействителен, то и власть факиров - как бы не власть, а лишь призрак власти. Проф. Сергеевич со страстным оживлением заговорил о власти хорошенькой женщины над мужчиною, и хотел, чтобы диспутант квалифицировал эту власть... Началось что-то непонятное, бессмысленное... Диспутант был в черном фраке; длинный ряд ученых, сидевших полукругом против него, был в синих фраках, и многие, между ними г. Сергеевич, со звездой...

* И, конечно, проф. Сергеевич был прав: между двумя консулами был разделен *imperium*, сосредоточенный ранее в руках *rex*'а и слишком опасный в его одних руках; но г. Коркунов мог бы ему возразить (чего он, однако, не сделал), что власть *rex*'а и была моментом соединения по отношению к позднее выделившейся из нее власти консульской+преторской. История Рима, в правовом отношении, есть история последовательного дробления *imperium*'а (развитие магистратуры); и, если на нее взирать назад, представит ступени последовательного соединения властей. На диспуте проф. Коркунов не только не дал определения занимающего его понятия, но и не умел

привести никакого для него примера, так что получалось такое впечатление для слушателей, что он написал книгу, сам не отдавая себе отчета, о чем пишет.

"Может быть - уже тайные советники", - подумал я. - "Господа", вмешался старый профессор (я спросил имя - это был г. Дювернуа, и да будет ему всяческая честь и похвала)... "Господа, речи, которые я слышу, понятия, которые развиваются здесь - меня удивляют... Мы говорим об юриспруденции, диспут идет на тему о праве: и вот я не могу себе дать отчета, я утверждаю, что самому смыслу "права" не отвечает все, о чем вы говорите; юриспруденция, самая ее идея, не реагирует* и не может реагировать на смысл ваших слов...".

* Он несколько раз повторил этот термин, и он чрезвычайно удачно выражает положение и характер прений на диспуте. Г. Сергеевич, который утопал в своем красноречии, видимо, был чрезвычайно недоволен "бестактным" вмешательством старого коллеги.

Он говорил мужественно, просто, прямо; наивный (ведь и фамилия его звучит иноземным), он серьезно был заинтересован идеей своей науки, и не хотел, чтобы идею теряли, говоря о науке... Но я был гражданин и так же не хотел, чтобы теряли идею моего отечества в моем отечестве.

V

О, я и всегда думал, уже давно, что в университетах наших, о чем никто не догадывается, вовсе нет самой идеи науки; что, до некоторой степени, это есть учреждение безотчетное, практически нужное конечно, но в главном, теоретическом отношении, - не представляющее никакой цены. Это великий эмпирик Ломоносов - виновен тут; светлую мыслью, крепким умом вознесся он над всею Русью; и как достоинства, так и недостатки ума своего сообщил и поздним поколениям надолго, сообщил любимому детищу своему, - университету. "Как мир громаден и чуден, ступай и изучай его!" - это чувство, так прекрасное, так благородное, которое и его, бедного мальчугана, пригнало с берегов Северного моря в Москву, было завещано им, как единственное, поколениям последующих наших ученых. "Ступай и изучай"...

как? что? - этих тревожных и замедляющих вопросов недоставало ни его непосредственной натуре, ни, тем менее, натуре их. "Для чего я буду изучать? какой именно смысл в том и этом из бездны удивительных знаний, мне открываемых природой?" — этого вопроса, этой оглядки на себя, на свой труд, расчленяющего взгляда на самый мир, в нем не было. Как Аладин при блеске волшебной лампы изумленно оглядывал внезапно открывшиеся ему сокровища и еще ничего не думал об их употреблении, так оглядывал при свете ума своего, религиозно настроенного* и не аналитического, основоположник науки нашей природу, благоговей, чудясь**, догадываясь и не
размышляя:

Коль многи смертным неизвестны
Творит природа чудеса***

* Из писателей XVIII века Ломоносов есть не только самый серьезный, но самый религиозный: удивительны его труды, положенные на переложение частей Псалтири (псалмов I, XIV, XXVI, XXXIV, LXX, CXLIII, CXLV) и книги Иова (главы 39-41), и также нет ни одного из его ученых рассуждений-речей, где мы не могли бы или не чувствовали постоянного религиозного настроения, которое, очевидно, не покидало творца их во всех его изысканиях, при всякой работе.

** См. его оды "Утреннее размышление о Божием величестве" и "Вечернее размышление о Божием величестве, при случае великого северного сияния".

*** Из оды на день восшествия на престол Государыни Елизаветы Петровны.

- эта мысль, скорей ощущение - есть в нем центральное, и оно исключало, делало до времени ненужным самый вопрос о видимом, о его гранях и связях. "Что именно я вижу, до каких пределов!" - какие бессмысленные вопросы, когда богатства неисчислимы, границ нет, и, главное, нет границ восторгу, теснящему грудь при их зрелище:

Восторг внезапный ум пленил

- как говорит он о себе в одной оде ...*.

* "На победу над турками при Хотине", первая строка.

И нас всех пленил он этим своим "пленением": заслуга нравственная скорее, нежели умственная, принадлежит ему единственно в истории. Он был основателем высокого культа к науке, которому в течение полутора века никто не смел изменить у нас; но, не изменяя, никто не умел и служить ему, потому что мысли о самом предмете культа он нам не оставил. Не было ограниченности в его бесформенном чувстве науки, не было в этом чувстве понятий, которые, цепляясь с нашею мыслью, вызывали бы в ней вопрос за вопросом, задачу за задачей, решая которую мы изощрялись бы в силах, возрастали бы в воззрениях на мир, и, возрастая, не утомлялись бы... От этого в истории нашей его светлый ум, его живое искание, остались каким-то обрубленным фактом, без развития, без школы, только с дрящимся позади его впечатлением удивления и уважения*. Он заразил нас чувством, но не дал мысли; показал великий пример, которому следовать не научил, не дал способа, не указал возможности. Скажем более: примером факта великого без всякой содержащейся в нем мысли, он лег камнем на науку нашу, вокруг которого не зажурчала, не могла зажурчать никакая живая струя. "Есть силы такие же, как у него - то открывай так же, как он" - вот единственное поучение, которое он оставил собою. Но ни одному слабому он не помог; ни одной теряющейся мысли не указал путь; живому уму не дал в лабиринт знания никакой Ариадниной руководящей нити. Он ожидал, что

может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов

* Замечательно, что при праздновании юбилея его многочисленные ученые и научные учреждения, принявшие в этом праздновании участие, не сумели, не нашлись высказать об нем или по поводу его никакой определенной, понятной, сколько-нибудь расчлененной мысли. То же неопределенное удивление через 100 лет к нему, каково было и его общее и неопределенное удивление к природе.

рождать русская земля: увы, за ним потянулся, и чем далее, тем утончаясь, истощаясь, ряд таких жалких плагиаторов слова, если не слова - то мысли, не самой мысли - то метода, каких если бы предчувствовала его душа - он понял бы, что незачем было ему бежать с Ледовитого океана в Москву, ни, позднее, - спешить с такими надеждами с дальнего Запада на родину... Он не отчаялся - благодарение его великодушию; он надеялся - весь век его надеялся, как

этот Потемкин в бессонные ночи, когда он обдумывал свой "греческий проект", Суворов мальчиком еще - "стать Аннибалом своего отечества", и в зрелых, и в более чем зрелых годах Екатерина, Павел - "спасти Европу от самое себя".

Смыслом, содержанием своим он не переступал за содержание XVIII века; как и весь этот век, он обращен был к его началу, исходной точке - к всеоживляющему образу Петра, который и был один только великим, оригинальным лицом в этот век. Он несколько поздно родился; он - не поспевший к делу сподвижник преобразователя, почти плачущий, что уже минула минута и он никогда не ответит покорностью, робким взглядом, трепетным исполнением на мановение истинно великого человека: Блаженны те очи, которые божественного сего мужа на земле видели!

Блаженны и преблаженны те, которые пот и кровь свою с Ним и за Него и за Отечество проливали, и которых Он за верную службу в главу и в очи целовал помазанными Своими устами*.

* "Слово третье, о пользе химии, сентября 6 дня 1751 года говоренное", стр. 261 "Собрания разных сочинений в стихах и в прозе господина коллежского советника и профессора Михаила Ломоносова". Москва, 1757 года.

Как это живо; это - почти грёзы человека с открытыми глазами; он говорит "Слово", - пространное, умное, одушевленное, - и, его заканчивая, как бы воочию видит своего кумира, драгоценнейшее сокровище своего сердца; - сокровище и истории нашей, и из нас всякого, кто благороден. И, однако, как Петр был велик натурою целостною своею и нисколько не умом, так велик порывом только своим и нисколько не мыслью Ломоносов. Как Преобразователь, сбросив ветхий, старческий образ Москвы* с себя, с России, этот жест сбрасывания один завещал нам и мы с тех пор и до нашего времени не можем, не умеем надеть на себя никакого другого сколько-нибудь определенного образа; так творец грамматик, од, "летописцев"**, "надписей" не сказал слова, не подумал мысли, которая в нас стала бы живым содержанием и охранила бы нас от последующего падения. Оба суть в точном смысле "герои", творители дел, которые не имеют*** никаких последствий. Гора свалена; - ну и что же? Рухнула Москва, оды прошумели, грамматики переплетены и поставлены на полки библиотек... и что же, мы будем творить еще грамматики? рушить с таким же восторгом?.. Но что, наконец, рушить? свое собственное дело?..

* Но не России, в целостном ее составе, в целостном течении ее истории. Под влиянием нужды, под ношею временной миссии, Россия как бы состарилась, сгорбилась, окостенела в Москве. И как совершенный восторг к ее историческому подвигу, так и совершенное отвращение к ее внешнему виду (теперь, когда плоды ее труда уже у нас в руках) не исключают несколько друг друга, но оба требуются любовью к земле своей и пониманием ее истории.

** Сокращенные экстракты из летописей образовали первоначальную форму науки русской истории; таков у Ломоносова: "Краткий российский летописец с родословием". СПб., 1760.

*** Implicite, в себе, не содержат: отрицательно, и вне преднамерения творца своего, они, конечно, влекут за собой обильные последствия.

Отсюда, от завещанного подвига в науке без завещанной идеи науки, последующее безмыслие... Университеты основываются, кафедры в них множатся, - когда мы не знаем, для чего существует даже один. Практически мы знаем это, и это не имеет значения; теоретически - это одно могло бы иметь значение, и этого мы не знаем. Мы все еще как и при Ломоносове удивляемся "природе"; питаем как он же культ "науки"; удивляемся так долго, так долго храним этот культ бесплодный, что сердце наконец устало и губы складываются в благоговейную улыбку несколько фальшиво... И еще позднее, на наших глазах, - эти заброшенные аудитории*, эти незнающие, что делать со скучающими слушателями профессора**; эта неспособность заинтересовать, невозможность заинтересоваться***; неоконченные диссертации****, диссертации обещанные и не выходящие*****; риторика, обман, бесплодие и, наконец, кощунство - невольное, открытое, как этот смешной диспут, который мы здесь невольно вспомнили...

* Не редким явлением было уже в мою пору учения (78-82 гг.), что, записавшись на факультет, студент брал продолжительный отпуск под каким-нибудь предлогом и возвращался на родину, где давал уроки, чем-нибудь занимался; и в университет приезжал лишь к экзамену, к которому быстро приготавливался по литографированному курсу, и, сдав этот экзамен, снова возвращался на родину, чтобы на следующий год повторить то же. Но и остававшиеся в университетском городе, студенты почти так же мало

принимали участия в общеуниверситетской жизни. Лишь с начала великого поста аудитории начинали несколько наполняться слушателями, желавшими заблаговременно приучить глаз профессора к своему лицу, и выделиться, по крайней мере, прилежанием перед теми студентами, которые появлялись на лекции к сроку самых экзаменов, недели за 2-3 до них. Принимая во внимание связность и последовательность каждого годового курса лекций, можно предположить, что и это время перед экзаменами студенты собственно присутствовали на лекциях, но их не слушали (так как не понимали же). Тут, в эти недели, начинали выходить ускоренно и лекции (литографированные), которые живо разбирались и заучивались на дому.

** Собственно вопрос этот, т.е. что, наконец, делать, когда приходющие, по-видимому, учиться - учиться в действительности не хотят, был, кажется, мучительным вопросом для всех серьезных профессоров, строго относившихся к своему курсу (т.е. к себе, как автору курса); и нечто вроде недоумения по этому поводу мне приходилось слышать от глубоко чтимого мною наставника, профессора всеобщей истории в Московском университете Влад. Ив. Герье: "Конечно, если они не хотят слушать, раз их не интересует наука, - не тащить же их насильно в аудитории; и чем же, если не таким насильственным натаскиванием на науку, была бы всякая внешняя мера против непосещения лекций" (предполагалось где-то кем-то переписывание не посещающих лекции студентов, запрещение литографирования лекций и т.д.). Собственно, положение этих строгих (к себе) профессоров было трагично, и желчь невольно поднималась против индивидуумов, против лица человеческого. Но, очень долго, очень внимательно подумав над этим вопросом, приходила иногда и такая мысль: но почему они (студенты) должны хотеть слушать? Что "читаемое вообще будет умно"? Но ведь "мало ли умного на свете, всего не переслушаешь, да и послушаю завтра, через 5-10 лет; прочту где-нибудь в книгах". Или что "это нужно для образования"? - "Ну, я не так уж необразован, чтобы торопиться сейчас до чего-то, до какой-то никому неизвестной мерки дообразовываться". Словом, все это очень и очень неопределенно, и не принудительно действует на этот час, в эту минуту, когда хотелось бы поиграть на бильярде, пойти к приятелю, полежать на постели. С этой постели, от приятеля, из бильярдной не гонит меня никакое определенное любопытство ума, которое беспокоило бы, дразнило, раздражало, и, раздражая, не оставляло бы возможности сидеть дома, гнало бы бежать в аудитории. С этической точки зрения вся правда, конечно, была на стороне тех строгих старых профессоров, которые (по выражению швейцара аудиторий) "жевали" студентов на экзамене; с логической, пожалуй, с историко-метафизической точки зрения - это был не

возмущенный еще духом истории покой вод; и кто хотел, чтобы они бурлили, должен был иметь силы поднять их, стать посланцем этого нами названного духа. Таких посланцев наш университет не видел; им не был, мы утверждаем, и Ломоносов. Им были, скорее, такие люди, как Лобачевский, как Станкевич.

*** В беседах с одним уважаемым ученым и критиком мне неоднократно приходилось касаться этой больной и странной стороны университетской кафедры. "Но ведь профессуры не ищут, - говорил он мне, - наиболее даровитые из слушателей университета, но только - люди упорные в труде! Что может она дать взамен того, что всякий даровитый студент теперь находит, по окончании курса, на иных более свободных и многозначительных поприщах жизни - адвокатуры, медицинской практики, государственной службы? Профессор - вечный и подневольный труженик, ничем почти за это труженичество не вознаграждаемый". Несомненно, однако, что между 50-70 годами на кафедру всходили, под временным и сильным дуновением разных благоприятных ветров, истинные таланты. Приведенное объяснение можно отнести лишь к историческим будням, какие затем настали.

**** Например, "История английской этики" профессора Казанского университета, г. Смирнова, первый том, который был написан для получения степени доктора философии, и за ним - ничего не последовало.

***** В журнале "Критическое Обозрение", издававшемся в начале 80-х годов кружком профессоров в Москве, публиковалось, и неоднократно, г. Виктором Михайловским о том, что он "приготавливает к печати" или "оканчивает" или "окончил уже и просматривает" обширный исторический труд о Филиппе Коммине. Очень интересуясь Филиппом Коммином, я с нетерпением ожидал выхода книги, но книга не выходила, хотя извещения о подвигающихся вперед работах прилежного московского историка время от времени появлялись. Выждав еще несколько лет, я справился, не умер ли автор; но он не умер. Очевидно, тема ему опротивела гораздо ранее, чем он успел ее выполнить, и само избрание ее не имело для себя других причин, кроме внешней подражательности другим.

VI

Я читал "О разложении поземельной общины в кантоне Вадт"* - и думал о нашем бедном сельском мире, о "Государственном устройстве Женевы во

времена Руссо"*** - и об устройстве нашего департамента, о "Кальвинистах во Франции"**** - и о своем участковом приставе. Читал о знойном экваториальном солнце над пальмовыми лесами - и не мог не думать о холодном, мелком дожде, который барабанил мне в шляпу и струился по моим щекам. Я не хотел думать о том солнце; я его, наконец, ненавидел... Мне хотелось как-нибудь, чем-нибудь остановить этот дождь.

* Профессора Московского университета, Макс. Макс. Ковалевского.

** Профессора Московского университета, г. Алексева.

*** Профессора Киевского университета, г. Лучицкого. Этот труд замечателен тем, что в то время как в литературе нашей нет истории реформации, нет истории кальвинизма, в книге этой подробнейшим образом разобрана история кальвинизма во Франции, насколько помнится, за 11 месяцев.

Я думал о труде Сперанского; и не о нем, собственно: ведь он тоже был плагиатор* чужой мысли; я думал об этом странном, антипатичном, повсеместном строе, который, как пелена мелкого, частого, холодного дождя - повис над всем цивилизованным миром. Об этих мириадах чиновников, под которыми нет гражданина, об отодвинутой в сторону приходской церкви; думал над опутанными, как тонкою паутиной, сетью частых, мелких, детальных вопросов - монархами, которые ничего не могут и за все ответственны...

* Известно, что, просмотрев проект нового "Уложения", им составленный в двух небольших томах, Карамзин воскликнул: "Да это Code Napoleon!". Столь же известно, что Государственный совет, им созданный, соответствует законодательной власти, министерства - исполнительной, и Сенат (коего преобразование он не успел выполнить) должен был соответствовать судебной власти, все - по учению Монтескье.

"Ваше Величество, здесь грязно - посторонитесь..." - "Ваше Величество, Николаевская дорога покупает 10 сажень земли под склад каменного угля у Московско-Курской жел. дороги: на облигационный или эксплуатационный капитал отнести этот расход?..."*.

* Случай вопроса, мне детально известный. Мина совершенной покорности воле Монарха, "без соизволения которого ничего не делается", видится за

этим вопросом; и совершенная же свобода от воли Монарха в принципиальном, в главном - в том "лесу" жизни, которого Монарх не видит более за этою перед ним натащенной поленицею деревьев.

И еще серии вопросов за этот день; и когда, по достаточном расспросе, они разрешены - тысяча бумаг назавтра потекут "к исполнению". Живут департаменты, крушатся страны. После того как 24 часа потрачены на рассмотрение "дел", не остается 25-го, в который можно бы подумать: "Зачем, откуда, куда эти дела?"

Я думал о странной, незамеченной никем перемене, совершившейся за один-полтора века в Европе; о перемене, не замеченной никем потому, что она совершалась ежедневно, текла с медленностью стрелки на циферблате столетних часов.

Где этот "король-солнце", как Людовик XIV? "королева-мать" своего народа, как возлюбленная "Бетси" английская? король как вождь крестоносных дружин? наконец, он - хотя бы только как средоточие сверкающего красотою, умом, изяществом двора? Какая перемена во всем: теперь король - самый слабый между своими подданными, который не может даже закричать, когда ему больно, закрыться рукою, когда ему стыдно... В Венгрии маргариновая пакость общественного мнения (я говорю о парламенте) отменяет христианский брак*; вчерашний вор, до завтра пока не уличенный**, кричит: "Я так хочу"; задумчив, безгласен император - старый, говорят - в душе истинный христианин, поседельй в делах совета и мира; последний он выговаривает нерешительно, против совести: "Хорошо, но не более, чем вы требуете, с отдохновением хоть до завтра".

* Законопроекты Векерле, требовавшие установления гражданского брака и брака смешанного, христиан с евреями. Теперь они приняты, и из-за порицания им, высказанного папским нунцием, которого не остановил общеимперский министр иностранных дел, этот последний принужден был выйти в отставку, несмотря на пользу его для страны и почтение к нему Государя. Т.е. Государь, министр, нунций, одни в целой стране не пользуются свободой голоса, свободой исповедания своего убеждения, которою владеет всякий проходимец.

** Дела Панамские и о шантажистах прессы обнаружили, какие общественные слои группируются около парламента и политической печати.

Слабый, жалкий... зачем ты не бежишь из Вены, из постыдных дворцов своих, куда-нибудь на мельницу, где ты мог бы молотить хлеб - свой

собственный, свободно для себя изготовленный, как это делает каждый более тебя счастливый мельник в 3—4 королевствах, в твоей руке бессмысленно соединенных.

О, как давно следовало бы монархам Европы разбить свой скипетр, изломать корону*, вместо того, чтобы до времени так жадно и жалко их удерживать.

* Слова эти были написаны мною всего за несколько дней до 5 декабря 1894 г., когда Казимир Перье бросил свое президентство, с презрением к нему и негодованием на тех, кто дал ему эту странную власть, это положение без силы, ношу без благодарности - игрушку, забавную для многих зрителей и очень мало для ее обладателя. В новые века это кажется первый случай игнорирования человеком властолюбивым власти, и я не могу не высказать удивления и удовольствия, что в статье, посвященной анализу центральной политической власти в Европе, я взял ноты, угадал настроение, которому факт столь новый в истории и коего никак нельзя было предвидеть еще накануне - ответил через несколько дней. Читатель без труда поймет, что незачем мне было бы говорить в тексте статьи о возможном в Вене, если бы у меня было перед глазами совершившееся действительно в Париже.

VII

Как солнце есть источник лучей не только световых, хотя они одни в нем видны, но и термических, химических, быть может еще других, менее уловимых, и лишь в синтезе их живительно для целой природы, - так монарх в смысле власти своей несет чрезвычайную сложность и лишь в полноте этой сложности живителен, значущ, тверд в судьбах своего народа, в истории страны. Всякий акт в жизни народной, насколько он нов сравнительно с предыдущими, усложняет, обогащает смысл его значения; и тысячи этих актов, теряющихся в памяти народной в своих определенных чертах, остаются в душе его как представление о власти неуловимой и живительной, неопределенной и безмерной, необходимой практически и вместе священной. В смысле этой власти отражается смысл всей совершившейся истории; ее каждое деяние имеет там отложенную от себя черту; и как в истории народа, бытие которого не ограничивается этнографическим существованием, есть несомненно провиденциальный характер, - этот провиденциальный характер имеет власть монарха, концентрирующая в себе смысл истории. Отсюда взгляд на него как на "помазанника Божия", представление о власти его как о

"милости от Бога полученной". И весь народ "помазан" к истории Богом; он - есть, продолжается, совершает деяния, а не остается в грязи неведения, молчания, забвения вовсе не бедными дарами своими, не сцеплением внешних обстоятельств, но Тем, Кто распределяет дары, сцепляет их с обстоятельствами.

Уяснить эту власть, определить ее, формулировать, - значит ее уменьшить, обеднить, ограничить. "L'etat c'est moi" - это выражение не было кульминационным пунктом в развитии монархии, как поняли историки, с ужасом сознали политики: это было ее первым ограничением. "Только государство - я" - это так мало; где же здесь отраженные черты Людовика Св.? победы, поражения, рыцарство, двор Франциска I? Разве это включает в себя светлую эпоху французского Renaissance? героизм Абельяра, аскетизм францисканцев? Где, каким элементом, кротким и прекрасным, живут тут ссора и примирение с Ингебургю Филиппа Августа? "Ты - государство? Итак с Кольбером, Лувуа, Вобаном, этими скучными чиновниками, ты можешь обсуждать вопросы интендантства, устанавливать тарифы, готовить войны и пить горечь своих неудач, - мы имеем свою жизнь, в которой замыкаемся от тебя", - говорили немного время спустя салоны, шумели энциклопедисты, развивал Руссо, доказывал в одах, сатирах, трагедиях Вольтер; "в стороне от твоего алтаря мы имеем свои; своим богам молимся; имеем свою историю". И когда две независимые истории столкнулись, истории разного происхождения, разного содержания, с разной толпой участников, победа не оказалась на стороне более древней, менее жизненной, окостенелой, презираемой. Но кто хочет понять этот великий момент, должен понять процесс, задолго до него совершившийся и определивший возможность самого столкновения, а не исход его. Фактическим революциям, какие совершались в Европе с 1649 года по 1870 год, предшествовала незамеченная революция в представлениях народных о монархе в смысле указанного определения и сужения его власти. Карл I и Иаков II - в Англии, Людовик XVI, Карл X, Луи-Филипп - во Франции, Фердинанд I и Фридрих-Вильгельм IV - в Австрии и Пруссии, были низвергнуты или испытали попытку быть низвергнутыми, как правители стран, как неудачные администраторы, а вовсе не как монархи в том обильном, не растерянном смысле, как ими были Константин или Феодосии на Востоке, Карл Великий, Альфред, Отгон на Западе. Мы живо чувствуем - революция против этих последних была бы невозможна; невозможна не в обстановке их времени, но по особым качествам их власти; равно как в качествах власти всех перечисленных павших государей уже *implicite* заключалась возможность революции против них; и факт преступности их

или неудач был возбудителем, но не причиной их падения. Если вновь изданный закон (ордонансы Карла X), дурное административное распоряжение (запрещение банкета реформистов при Луи-Филиппе), новая подать (при Карле I), несчастная война (при Наполеоне III) делают возможным это падение - значит, павшая власть в этот момент ее падения и не содержала в себе ничего иного, чем что выражается или может быть выражено без остатка в законе изданном, подати установленной, в том или ином, но только - в административном распоряжении. Власть эта слишком объяснилась; она истончилась, стала бедна содержанием; она разложилась, пройдя некоторым особым образом через ряд исторических фактов, как разлагается белый сложный луч света, проходя через ряд цветных призм, - и лишь одна несущественная нить, одна бледная цветная черточка в ней осталась. Революция фактическая есть незаметный ее момент; нарастающее недовольствие масс - момент не решающий; главный момент революций, непонятый историками, неуловленный теоретиками государства - есть момент определения в народных представлениях власти монарха, как связанной с чем-нибудь определенным в его бытии, связанной только с этим одним и обрывающейся, как только это одно потрясено. Генрих VIII в Англии не низвергается, разрушив церковь древнюю, установив новую по своему произволу, развратный и жестокий тиран; Карл I (после заботливой Елизаветы) уже вызывает против себя революцию стеснением эмиграции, сборищем податей помимо одобрения парламента. Карл IX, совершив варфоломеевскую ночь, Христиан II, устроив в Стокгольме "кровавую баню", наш Иоанн Грозный и ряд государей слабоумных (Феодор Иоаннович), помешанных (Карл VI во Франции), плененных (Франциск I, Иоанн Добрый), без вести пропавших (Ричард Плантагенет) оставляли народ в покое, в горести, в сожалении, страхе, ужасе, но никогда - в возмущении. О чем же было сожаление, за что в государе страх, чем было удерживаемо возмущение, если на лицо не было не только благодетельной власти государственной, но и не было государя иначе как помешавшегося или потерянного? Всмотримся в факт, ближе, понятнее, ярче светящий перед нами: разве кровь, проливаемая Иоанном IV, текла без боли? разоряемый Новгород, готовый стать разоренным Псков - не трепетали? в Ливонской войне не было унижено царство? Итак, что берегли в этом теле - старом, ненужном, блудном, упившемся в крови? Государя ли, когда всякий на месте его был бы лучший?

Правителя незаконного, военачальника побитого, политика осмеянного, судью бессудного? Нет, все это было ему... не прощено, не забыто, но все это - малилось пред необъятным иным, что он нес в себе, в

этом изношенном своем теле, помешанном уме, развращенном сердце; точнее - что нес, что светилось для всего народа около этой не погаснувшей, мучительной, презренной и однако бережно хранимой жизни. Мы не определяем, не хотим определить смысл этого света; мы на него указываем; и никто не отвергнет, что и псковитяне, и новгородцы, и Филипп Святой, и Курбский именно ради этого невыраженного и чувствуемого света не осмелились для защиты своей поднять руки, даже слишком возвысить голос, но - умерли, пострадали, и облили бы презрением, вознегодовали бы против потомков своих, если бы так же покорно и безропотно не пострадали, не умерли они.

И если от этого яркого, значительного факта мы перенесемся мыслью к другим фактам, где уже при обильном презрении и ненависти мы видим гораздо меньше переносимой боли - мы, наконец, пойдем их. Отмененный банкет "реформистов"* наполняет смятением улицы Парижа, волнением - войска, мятежом - народные массы: и король, мирный в течение 18-ти лет, с соправителем самого возвышенного ума и редкого благородства (Гизо) - позорно изгнан; изданные ордонансы о цензуре, изменении избирательного закона и прочих деталях управления бросают Францию в революцию против Карла X; рождение сына-наследника у неприятного Иакова II истощает терпение Англии в 1688 году; и не было даже этих ничтожных, скольконибудь определенных поводов для низвержения, суда, казни Карла английского, Людовика французского, кроме как разве то, что они хотели бежать и не сумели этого... Это был суд, расправа, борьба... не с монархами, а с злоупотреблявшими своей властью чиновниками; пусть их власть территориально была очень обширна; она не была более сложна; не была - культурна - одухотворена. Изгнанные или казненные, они уже и ранее этого не вращались во Францию, в Англию; они были связаны с администрацией только, действовавшей в 1649 году в Англии, в 1789 году во Франции. Разве теперь, в эти новые годы, Франция двинулась бы за ними в крестовый поход, или они сами захотели бы ее повести? изменила бы строй церкви? или даже перестала бы читать Вольтера, доверять Руссо? отказалась бы от красноречия нелепого, звероподобного, могучего Кромвеля?..

* Мы говорим не об общих причинах, а об частном, непосредственном поводе к народным движениям, породившем в этот именно день взрыв чувств достаточный, чтобы снести трон. Мы указываем, как относительно (напр. избиваемых новгородцев) слабы были эти чувства и, следовательно, слаб трон, тонка и не прочна его связь с душою каждого.

Иоанн Грозный - преступен, сын его - слабоумен, но внук может созвать еще церковный собор для рассмотрения вкравшихся в церковь нестроений, земский - для издания нового и лучшего Судебника; нет вести о короле Ричарде, но еще отец его избавил Англию от гнета бессудного католического духовенства, издав церковные постановления в Кларендоне; Феодосии был великим сберегателем христианства; был святым Людовик IX; героем побед и плена, жизнерадостного Возрождения, несравненных романов был Франциск I. Чем мог быть Людовик XVII, XVIII, XIX, как не финансистом несколько лучшим, нежели их предок, мужем несколько менее верным, - и как одно было не интересно, другое - не очень нужно, и, во всяком случае, несколько не священо для Франции. Монарх само-ограничивается, и потом уже - ограничивается извне или теряет вовсе власть. При целости и полноте в нем черт, отложенных мириадами деяний минувших и полузабытых, самая мысль об его ограничении так же чужда бывает времени, враждебна каждому человеку, как показалась бы ему враждебна мысль ограничить его собственную связь с историей, оборвать дорогое, нужное, святое - что он от нее несет в своих нравах, воспитании, навыках, целом физическом и духовном своем бытии. Как омофором священным, - от бурь истории, от ненависти человеческой монарх этим именно охраняется, - в грехе и доблести, силе и слабости, рассудительности и даже безумии; что ему все проходит, пока не снят, не свился над ним, не оттолкнут самим им безрассудно этот оберегающий его, Промыслом оберегаемый над ним, Покров.

VIII

Чуть-чуть, указанием на несколько изолированных точек, мы дали почувствовать в начале* этого рассуждения, как мало для блага страны, как недостаточно для здравого смысла несет в себе элементов чрезмерная, всепоглощающая, всем пытающаяся овладеть и ничем не владеющая действительно администрация; мы не выражаем этим именем вполне свою мысль: мы хотим говорить о колорите новых государств, и произносим имя, когда должны бы назвать призрак. Мы считаем бесплодную для народов, бессмысленную для рассудка административность этих государств; наконец - и здесь только мы начинаем говорить что-нибудь новое для читателя - мы ее считаем губительною, опасною для монархий. В узкую, бедную мысль Сперанского, - как ранее, в Европе, в мысль** здравую и грубую, полезную и

всегда материальную, в мысль никогда небесную, святую - дали вовлечь себя монархи, в смысле власти своей несшие сверх грубых земных элементов и элементы мистические, черты не житейской праведности. Мы все отклоняемся от родной почвы к истории чуждой. Мы хотим сказать, что Сперанский самыми особенностями своих талантов, выдающихся - но в бедной сфере, замечательных - но только силами логическими, человек всего менее "земли", "натуры", "почвы", темперамента, всего менее знавший и веривший тайне Антея, который через припадание к матери-земле обновлял свои силы, - этот человек особенностями своего узкого гения чрезмерно сузил смысл нашего исторического бытия. И между тем трудясь около монархов, трудясь над созданием нашего государственного механизма, он именно их вовлек в недостаточную мысль свою, уединил в свою непрочную паутину, уединил их от истинного их достоинства, власти, значения, исторического смысла. Ни еще такой гигант как Петр, такая самодержица как Екатерина - не стали более возможны после него. Все упорядочилось и вместе обеднялось; упорядочилось скорее в форме и совершенно иссякло в духе: нет - безумного произвола, нет - изумляющего, неслыханного благодеяния. Обратим внимание: на созыв депутатов***, - так смело, великодушно, в таких богатых размерах**** решенный без смущения Екатериною, - при нуждах гораздо более настоятельных не повторялся и, мы чувствуем, это не повторится иначе, как в формах смешных, боязливых, неудачливых (комиссия "сведущих людей" 1881 г.). Что-то робкое, какая-то тень Акакия Акакиевича, - не того, который послужил прототипом для Гоголя и был прекрасен, но того, какого дал нам Гоголь, и он отвратителен, жалок, - эта тень сморщенного чего-то, бессильного, облезлого, она пала от длинной и худой фигуры Сперанского на тысячи дел, замыслов, предприятий, после него совершившихся и текущих до наших дней. Мы не умеем более возделывать свои нивы, умеем написать об нивах тысячи страниц; и даже, когда возделанным нивам Бог пошлет урожай***** - мы в отчаянии от него, мы растеряны, и как испуганные овцы жмемся в своих канцеляриях, ища защиты от новой напасти, ища помощи и не зная, кого просить о ней, и, наконец, прося Бога закрыть щедрую руку, прося давать хлеба именно столько, сколько нужно, и ни больше, ни меньше, - как и мы "сколько нужно" отправляем "бумаг" в день и не отправляем же их больше! Земля, реальное дело - это так ново; это - так страшно для нас; так страшно ступить на почву, выйти в жизнь, взглянуть на солнце и зеленеющие поля, после того как мы сто лет смотрели только на керосиновую лампу и видели перед собою черные, унизываемые буквами, строки...

* См. выше, главы I—III.

** Мы разумеем деятелей европейской политики типа Кольбера. Между государями, выдающимися в этом роде, были Генрих IV - во Франции и Фридрих II - в Пруссии, отчасти - Елизавета Английская; все - деятельные администраторы своих стран.

*** В знаменитую "Комиссию для составления проекта Нового Уложения".

**** В "Положении, откуда депутатов прислать к сочинению проекта Нового Уложения" сказано, в §§ 3-7: "От жителей города- по одному депутату, отодворцов каждой провинции - по одному депутату; от пехотных солдат и разных служб служилых людей, и прочих ландмилицию содержащих, от каждой провинции - по одному депутату; от государственных чернососных и ясачных крестьян, с каждой провинции - по одному депутату; от неочующих разных в области нашей живущих народов, каково б они закона ни были, крещеные или некрещеные, от каждого народа о провинции - по одному депутату". - Декабря 14 дня 1766 года.

***** см. урожай 1894 г., и тоску администрации нашей в зиму 1894/95 года, по поводу его поднявшуюся.

И, конечно, с этою суженною действительностью не могла слиться историческая Россия; живые инстинкты, порыв, все неугомонное и страстное, что не может уложиться в ранку размеренного дня, приуроченной работы, наконец - работы ясно бесполезной, потекло за краями этой действительности, вне рамок канцелярии и департамента, волнуясь, негодуя и радуясь, создавая в этом течении поэзию, зачатки искусств, попытки науки - действительность новую и неожиданную, о которой ничего не знала канцелярия и которая не знала, не хотела знать то, что было в канцелярии, несколько игнорировало, презирало ее. "Земля" и строй государственный стали разобщены; точнее, - "строй государственный" сложился в тип, в форму (и это именно есть дело Сперанского), которая не охватывала более "землю", сузилась сравнительно с ее инстинктами, силами, задатками, и безотчетно для себя, безвинно для земли - ее оттолкнула от себя, или, по крайней мере, отделила.

То, что нас единственно занимает здесь - это судьбы нашей монархии, и то, как на ней отразились эти недавние сравнительно перемены. Бросим взгляд на факты. Не поразительно ли, мы не знаем ропота Радищева, гнева Новикова, не знаем ропота и гнева им близких людей, их общества - иначе

как ропота скорбного, проникнутого любовью к сущности того, против проявлений чего был ропот, почти физический, почти крик боли испытываемой, но не ума размышляющего и еще менее раздраженного сердца. Но замечательнее гораздо, что этого ропота, с этим оттенком общих чувств, не было и в царствование Александра I, не было и тени его в декабристах: вспомним письмо Рыльева к Государю перед казнью*, исполненное трогательности, нежного уважения к казнящей завтра руке - памятник единственный политической жизни у нас, более значительный и дорогой, чем все пространные и бездарные компиляции Сперанского, не исключая его "Свода"; вспомним, как удивились и не узнали нашего общества вернувшиеся из ссылки декабристы. Смотрением Божиим, Александр I выражал еще целостную историческую Россию - на полях проигранных и выигранных битв, в гордом ответе Наполеону, в конгрессах, в простом, общем соизволении на деятельность Сперанского, позднее - Аракчеева. Не было дел в размерах его власти дома; он был утомлен, он не хотел предпринимать их; Россия страдала, как последние 15 лет; кажется, страдала вместе с Государем своим; и его любила, как любила бы даже и тогда, если бы страдала от него именно.

* Вот это замечательное письмо, сохранившееся в черновом наброске и написанное около 21 июня 1826 г.:

"Святым даром Спасителя мира я примирился с Творцом моим. Чем же возблагодарю я Его за это благодеяние, как не отречением от моих заблуждений и политических правил? Так, Государь! отрекаюсь от них чистосердечно и торжественно, но чтобы запечатлеть искренность сего отречения и совершенно успокоить совесть мою, дерзаю просить тебя, Государь, будь милосерд к товарищам моего преступления. Я виновнее их всех; я, с самого вступления моего в Думу Северного Общества, упрекал их в недеятельности; я преступною ревностью своею был для них самым гибельным примером; словом, я погубил их; через меня пролилась невинная кровь. Они, по дружбе своей ко мне и по своему благородству, не скажут сего, но собственная совесть меня в том уверяет. Прошу тебя, Государь, прости их: ты приобретешь в них достойных себе верноподданных и истинных сынов отечества. Твое великодушие и милосердие обяжет их вечною благодарностью. Казни меня одного; я благословлю десницу, меня карающую, и твое милосердие, и пред самою казнью не престану молить Всевышняго, да отречение мое и казнь навсегда отвратят юных сограждан моих от преступных предприятий противу власти верховной" (курсивы

наши).

Не менее замечательны слова, находящиеся в письме от 13 марта 1826 г., писанном из крепости жене:

"...Поверь, мой друг, что самое несчастье мое (т.е. заключение в крепость) принесло мне уже важные пользы. Пробыв три месяца один с самим собою, я узнал себя лучше; я рассмотрел всю жизнь свою - и ясно увидел, что я во многом заблуждался. Раскаиваюсь и благодарю Всевышнего, что Он открыл мне глаза. Что бы со мной ни было (говорится о приговоре Верховного суда, который еще не состоялся), я столько не утрачу, сколько приобрел от моего злополучия; жалею только, что я уже более не могу быть полезным моему Отечеству и Государю, столь милосердному"... (курсив наш). См. "Сочинения К.Ф. Рыльева, изданные под редакцией М.Н. Мазаева. СПб., 1893", стр. 183 и 170. Замечательны последние отмеченные нами строки по совпадению со взглядом Ф.М. Достоевского на испытание, им вынесенное в каторге. Письма Рыльева, по их высокому историческому и воспитательному значению, должны бы стать у нас предметом школьного изучения, и, вероятно, станут таковым со временем.

От "Дум" Рыльева и его письма, от "Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева, от не опубликованных при жизни записок кн. Михаила Щербатова мы видим, как идет назад нить непрерывающаяся, лишь чуть-чуть видоизменяясь, к озабоченности "государевым делом" Посошкова, любви и иронии Котошихина, гневу, слезам, скорби Курбского... Через 30 лет позже мы видим нить тоже протестов, желчи, гнева, с которыми, однако, не можем соединить эту древнюю у нас нить, не умеем связать концы той и другой в один узел. В сердцах, в умах выросло что-то новое; следя за мемуарами, записками, мы видим, что в эти именно 30 лет выросло это новое. Новое это - то самое, чего не узнали, чему удивились декабристы, на что они вознегодовали, - как, не думая о них, сказали мы выше, вознегодовали бы Курбский, Филипп, если бы перед Государем своим и за Государя их потомки не сумели умереть безропотно...*

* Кажется нам, сравнив "Думы" Рыльева. М., 1825, и "Стихотворения" Н. Некрасова 1860-70-х гг., и определив отношение тех и других к истории, а, главное - колорит их, зноящееся там и здесь чувство, - читатель яснее всего понял бы, о чем, о какой перемене в психическом строе общества мы

говорим.

IX

Мы оставляем в стороне структуру общества, не умаляя ее значения; мы сосредоточиваем внимание на самом объекте новых и неожиданных чувств, и спрашиваем: имеет ли этот объект теперь тот смысл, какой он имел в течение всей нашей истории, до Александра I включительно?

Несколько очень незаметных подробностей все же не малозначительны, и мы их отметим. Очень войнолюбивый, государь Николай I уже не сопровождал войск в многочисленные походы, - туда, где так целостно выражается страна, где назревает, готовится новая складка в бытии историческом; и с тем вместе его царствование было чуждо каких-либо преобразований, колеблющих, поправляющих в целом бытие народное дома. Отсутствуя там, не совершая великого здесь, сдерживая, охраняя лишь status quo... в чем же именно он охранял его? что выражал собою! выражал которое из двух течений, на которые распалась ранее целостная жизнь? Ответ - ясен, и вместе - его великие последствия...

Без слов, без каких-либо отдельных и выразимых фактов, без требований извне, смысл "государствования" сузился до представительства, охранения, и в этом охранении - до молчаливого оправдания, управляющего только механизма. Мы должны ярко и целостно представить себе тысячелетнее историческое бытие народное, чтобы измерить малость этой функции; чтобы понять, наконец, ее утлый, земной, исключительно материальный и грубый смысл. Мы сказали "государствование" и взяли термин слишком обширный, не выражающий более бедного содержания, к которому мы его относим. Этот термин включает еще войну и мир, право и насилие, все факты материальной стороны человеческого бытия; и вовсе не все факты, и особенно не всесторонне, выражаются в представительстве и охране администрации. Тут - есть даже партийность; есть без конца - мелочности; о, даже почти только мелочность и есть, не видящая, мешающая видеть, куда же идут большие течения жизни, направляется история. В очень большом масштабе, раздвинутая на необъятную территорию, трансформированная в бесчисленные виды - всюду и постоянно это есть бедная забота о двух непогашенных марках в Узун-Ада ввиду направленных на грудь пушек. И сюда, в эту утлую заботу, в это смасливание вертящихся колес непонятной машины, которая давно перетирает только воздух, и, кажется, потянула или готова потянуть в себя, как пищу и жертву, край

платья неосторожного смазчика, еще думающего, что он на ней несется к какому-то далекому и великому будущему, - сюда, в это неведение и этот ужас, к ужасу и смятению тысяч сторонних глаз, вовлечено то, чему тысячелетие наши предки привыкли поклоняться как праведному, великому, святому...

Х

Мы должны сосредоточить все свое внимание, быть чуткими к переливам явления, одного в своем имени и разного в существе. В том сиянии, которое окружает главу монарха и оберегает ее, мы сказали - лежит отложенный след всех незабытых и полузабытых фактов, из которых сложена была жизнь исторического народа; и каждый из этих следов до тех пор светит, пока так или иначе, тем или иным усилием монарха, словом, поступком, усилием, капризом, подвигом - он шевелится, движется, и через это всеми ощущается как живой. Хоть в мимолетной черте царствования, в каком-нибудь едва заметном факте, если не в факте - то в выраженном помысле, в высказанном сожалении, в скорби о неосуществленном, каждая струя истории совершившейся должна отразиться: и тогда только это сложное сияние остается цельно, монарх есть монарх полный, его скипетр - не раздроблен, корона - не обломана, держава - не умалена. И в том странном, неопределенном и великом чувстве, которое он вызывает к своему лику в народе, тогда только не оборвется, не замолкнет ни одна струна, пока там, в том сиянии, не угас ни один луч; ибо сложность этого чувства есть только отраженная, и там, в самом монархе, в невыраженном и для всех ощутимом смысле его монархии, лежит его (чувства) источник, ему равное основание. Монарх для всех есть то, что он есть для себя; в его значении есть абсолютность, есть автономность; ни один глаз на него не смежится, пока он сам этот глаз не закроет на себя; и, не смежаясь, не перестанет видеть в нем то именно, что в себе видит, ощущает, знает монарх.

Где же наше прошлое в этом сберегателе недавних учреждений? в этой утлой заботе о сегодня и только о земле? Где нравственный высокий смысл "пота, утертого за землю русскую" Ярославом? молитв угрюмого Андрея Суздальского? "богословия" Грозного? где, мы не видим здесь странного и чудного путешествия в Орду святителя Алексея, благословения на Мамаю - св. Сергия, и всего, что, не от государя выйдя, им было выслушано, в умилении принято, что развило и просветило его сердце; и к этому именно

сердцу, так просвещенному уму, к этому сложному лику относилось наше чувство?

Мы ограблены - татью, имени которого не знаем; с нами что-то сделано; нет прежних чувств во мне; я хотел бы молиться - и не могу припомнить ни одного слова молитвы; хотел бы совершить подвиг - и выходит только смешное; хотел бы защитить святое - и бормочу не относящиеся к делу слова; хочу поднять руку, чтобы ударить и закрыть чужие кошунственные уста и... рассмеиваюсь. Я опустошен: мускулы, ноги, уши, голова - все прежнее еще у меня, но в этом прежнем - какой-то у меня новый ум, неизвестного и очень недавнего происхождения сердце. Я это сердце свое ненавижу, этот ум свой презираю, - и, однако, не могу высвободиться от них; презираю каким-то новым презрением, ненавижу какую-то странную, неприятную себе самому ненавистью. Смысл жизни необъятной вокруг меня изменился - и изменился я сам; желто-багровые небеса отражаются на мне желто-багровым цветом кожи. Это - некрасиво; я содрал бы с себя эту кожу... и могу думать только о том, чтобы свернулось это странное небо и засияло прежнее, голубое...

XI

Едва заметными штрихами мы показали*, как управляющий механизм, болтая колесами по воздуху, очень мало выполняет и ту грубую функцию, к которой он предназначен; что совершенна, собственно, модель, точнее - чертеж, идея механизма, и вовсе не он сам. Мы указали, как мальчики не обучаются, когда написано всюду, где нужно, что "обучаются"; и мы прибавили бы к этому, точнее - уже разъяснили в другом месте**, как они изъемяются из семьи, выводятся из церкви, становятся против истории, когда всюду, где следует, говорится, разъясняется, обосновывается, что они именно усиленно молятся в "своих церквах", в "шитых гарусом стихарчиках", что чувства к родителям им объяснены на примере Корнелии Римской, и что для отечества они завтра же начнут совершать подвиги почти такие же, как Фемистокл для Афин и Сципионы для Италии...

* В первых главах этой статьи.

** См. "Сумерки просвещения" в "Русском Вестнике" 1893 г. и "Афоризмы и наблюдения" в "Русском Обозрении" за 1894 г.

Но вот более новый, яснее уловимый по грубости факт, так ярко именно сейчас бьющий в воображение всех: мы говорим еще о функции, обогатившей наш управляющий механизм, о которой ненакормленные обитатели болот молили Юпитера во время недавнего голода, и, наконец, ее получили. Мы говорим о новом "министерстве земледелия". Кто не следил мыслью за меланхолическими поездками г-на Ермолова на Кавказ, кажется - в Крым, еще куда-то, очень-очень далеко от нашего "земледелия"; кто не размышлял над его посещениями тутовых плантаций, где-то около Кизляра или Моздока, над осмотром усовершенствованных систем пчеловодства, изделий кустарных, - чему всему он отдавал должную дань удивления и всему соответственно сочувствовал... Мы говорим очень серьезно, в словах наших нет и тени иронии, и из "земледельцев", что "пашут" на Мариинской площади в Петербурге, мы убеждены - нет никого, кто с равной скорбью заглядывал бы в сердце этого даровитого и честного русского человека. Голод - это, наконец, факт, и на него нельзя ответить пересыпанием ассигнаций из одного ящика в другой*, переписыванием сметных назначений из одной графы в другую, циркулярным распоряжением; на него нужно ответить...фактам! - и между тем орудие, для произведения этого факта данное, выграфливает только слова...

* Т.е. большею частью, из Государственного банка в казначейство и из казначейства в Государственный банк. Деятельность министерства финансов, столь шумная и обильная в последнее время, потому и ходка, что есть лишь деятельность над знаками ценностей и вовсе не над самими ценностями, не над трудом, не над человеком, не над землею; деятельность формальная и не задевающая существо вещей, или, по крайней мере, не задевая их существенным образом.

Вырастить рожь при помощи таблицы умножения, вспахать посредством гектографа поле - задача не более разрешимая, нежели "поднять уровень земледелия в стране" через механизм, этому посвященный. И вот, человек тонкого ума, огромных сведений*, рвения к делу - стыдливо от него отходит; он - почти не остается в Петербурге; в Петербурге мокрые лягушки - не те, которые были голодны во время голода, но те, которые всегда бывают сыты - установили для себя штаты, определили жалованье и, вытерев салфеткою рот, который сейчас раскроется и будет есть, не без

благодарного чувства к отечеству подняли в воздух тысячи перьев, придвинули бумагу и проговорили, что они "готовы"...

* Г-ну Ермолову принадлежат классические труды по земледелию: "О севооборотах в России" и другие.

ХП

Из сети учреждений, из детального хода их, который так мало способен оплодотворить "землю", - монарх, для которого эта сеть учреждений так опасна, может выйти без сожалений, без тревоги, к радости его ожидающей Земли. Из двух течений, на которые распалось целостное бытие страны, по существу своей власти, праведной и великой, он более все-таки стоит во втором: он в границах "земли", "народа", "быта" и нисколько не "департамента", не "канцелярии"*. Так помним мы еще от времен Ярослава, Мстиславов, даже от очень новых времен Екатерины, Петра, и нас не может разубедить в этом юная, безродная, не украшенная никакой почтенной сединой мысль Сперанского и жалких его последователей**. "Кланяюсь гробам отцов моих, Святой Софье, - и вас не забуду", эти слова, обращенные прощающимся князем*** к земле своей, эта градация дорогого его сердцу, родного и близкого уму, содержит более живую теорию государства, нежели какую пытаются внушить развратители**** отечества нашего, с кафедры и из книг. Они объясняют***** об этом отечестве, своем и нашем, что оно - "только один из видов общественного союза"; что в союзе этом, лишь по объему и разнообразию функций различающемся от акционерной компании, государь есть только обладатель очень большого числа акций; что он, по крайней мере в идее, не может ничего решить без "общего собрания акционеров"; и если решает иногда, решает пока... то всегда к гневу и стыду***** этих теоретиков, решает лишь до завтра... Бедные, о, если бы не завтра, но именно сегодня он "отрешил" вас, наконец, от земли, к которой вы присосались ненужно, - и она сама, эта земля, вас усиливается и не может оторвать от себя.

* "Я - только первый между дворянами", - сказал о себе рыцарственный Франциск I; соответственно изменившемуся типу государства, государь, как

Франц-Иосиф, мог бы о себе выразиться: "Я только самый главный между чиновниками". Собственно - молча, существом дел своих, это и выражает всякий государь нового типа; и настоящая статья не имеет другой цели, как разъяснить и отвергнуть этот опасный парадокс.

** Мы разумеем здесь всю школу юристов-теоретиков и юристов-практиков.

*** Мстиславом Храбрым, при отъезде из Новгорода.

**** Юрист - обычно развратитель, делает ли он (сословие юристов), учит ли и проповедует (профессора). Поразительно, что за все время истории древней (римской) и новой, юрист по профессии или даже по складу ума, по предмету изучения и размышления, не стал ни разу великим государственным человеком, как становились ими ораторы, поэты, романисты, философы, но особенно часто воины (Аннибал и Цезарь, Фридрих Великий и Наполеон I, также Демосфен и Кай Гракх, Марк Аврелий, Дизраэли, Эдмунд Борк и др.). Юрист - это всегда пустой человек, ничтожный по мелочности ума своего, мотивам действия, способам ведения дел; часто - обманщик; никогда за все существование человечества - герой. Государство, особенно желающее благоденствовать, не должно бы собственно вовсе допускать этих людей до исполнения в нем сколько-нибудь значительных функций, заменяя их смиренными филологами или твердыми воинами.

***** Все ниже следующее имеет в виду конституционные пожелания у нас, правда, теперь не имеющие за себя приверженцев, но могущие получить их не сегодня-завтра.

***** Покойный проф. Градовский, лишь на время и не на долгие сроки умевший ("Национальный вопрос в России"), в начале 80-х годов, когда окончательно стало известно, что конституции не будет, у нас, дано - негодовал и настаивал, что события заставят ее дать, и очень чтимый мною профессор всеобщей истории, на экзаменах, когда случалось студенту в историческом рассказе упомянуть, что Россия не конституционная страна, обыкновенно насмешливо останавливал отвечающего: "А еще, кроме России, какое из европейских государств лишено конституции?" - на что студент робко отвечал, - "Турция", и уже ирония сама собою получалась от сопоставления магометанской и необразованной страны с отечеством.

Нет, наш возлюбленный Государь ранее, чем полезен нам — праведен перед нами; и, хотя бы не очень был нужен нам, если бы даже по попущению Божию был труден для нас, губителен - останется все-таки священен; и не до завтра, но вечно; не в объеме некоторой власти, но всяческой. Мы избираем, даже с точки зрения вашей "правовой", его еженедельно, и притом два раза:

ведь вам безразлично, вы не можете придраться, в какой форме мы подаем голоса, на бумажках ли, поднимая руку, опуская ли голову. Ну, вот, когда священник на Великом выходе, за литургией, произносит слова молитвы "о благочестивейшем самодержавнейшем Государе...", ни я, ни еще 80-90 миллионов кровных со мною, - мы не выбегаем из церкви, трясая головой, ругаясь и плюясь, а склоняем головы, т.е. как за такого, самодержавного, молимся за него; и накануне, за всенощной, когда священник с диаконом обходят церковь и кадят Богу, а клир призывает народ в чудно волнующих звуках: "благословите имя Господне, благословите рабы Его..." - мы все (решительно вся церковь) становимся на колена, и также не кричим, не протестуем, но признаем - это и все, что из этого следует. Итак, suffrage universelle сделан; он не прекращается*, не прекратится никогда; сочтите голоса - тут нет поддельвателей их, как у вас в Тулузе; и, запомнив цифру, - отойдите в сторону, отойдите с путей нашей истории, не до завтра, но навечно...

* Да простит нам читатель, и ранее его - св. церковь, что некоторый факт, в ее недрах совершающийся, мы вводим в нить наших политических рассуждений. Но мы должны, для полной убедительности, стать на почву рассуждений людей, которых оспариваем, разбить их на их поле и их оружием. "Большинство поданных голосов, поданных всем населением, поданных свободно, определяет - чему быть в земле", - так говорит теория и практика новой политической жизни. "Так, - отвечаю я, - и вот на литургии и за всенощной они поданы, народ высказался и о том, - кто он (раб Божий) и чего хочет, а следовательно, и исторический спор решен".

ХІІІ

И, выйдя из заблуждения этих новых и странных учений, стряхнув пыль канцелярий со своей мантии, Царь ярится среди "земли" своей в том самом величии и красоте, какое ему Бог указал, земля дала своим потом и страданием, и мы, дети этой утружденной земли, его ожидаем видеть. О, как славен он, как светел нашей совершенною любовью; как безропотно покорны мы малейшему мановению его руки, как счастливы, сравнительно с нашими заблудившимися западными братьями, этою совершенною покорностью. Как велики еще наши силы, как обильны мы жизнью; ведь покориться - это так трудно, и вот нам совершенно легко даже это трудное! Чего не сделаем мы, обратясь ко вне, к задачам несравненно этой легчайшим! Но пока, забыв эти

задачи, уьемся трепетом наших сил, поэзией нашей истории, красотой лица нашего перед всеми народами - покорностью. Я ради единого брата во Христе отрекся от себя: что угрожает мне еще? Мы все в одном отречении слились - кто больше нас? Мы, наконец - цари земли, но это завтра, после того как сегодняшние восторги утихнут...

XIV

И среди народа, так трепетно его любящего, не озабочиваем никакой нуждою для себя, никакой деталью и управления. Царь взглянет на желто-багровый небосклон, который так искажает все лица вокруг него и исказил было собственный его лик, и едва не вырвал скипетр, не разбил корону, и уже довольно запачкал его мантию. Мы все скорбим - скорбью, от которой не умеем освободиться разрозненными силами; наша печаль - не в сердце, но в воздухе, которым мы дышем. Что мне делать, если атмосфера заражена вокруг меня; и я не имею сил, и Бог не указал мне - перестать дышать. Я отравляюсь с сознанием, с отвращением, и могу молить только о помощи, о руке достаточно сильной, чтобы свернуть это отвратительное надо мною небо. Я говорю об "общих условиях" действительности, о которых так печально, так напрасно думают, будто лицо - чистое и яснейшее в истории, но не всемогущее - будто это лицо может стать вне, и выше их. Нет этих сил в человеке, нет иначе как у немногих избранных... Я не из их числа, я слаб, и, однако, жажда свежести, голубого неба во мне сильна не менее, чем и у тех сильных. Мне нужна извне помощь, и я требую ее, хочу - в Царе все содержащем, всем обладающем, все изменяющем.

XV

Царь* - именно страж горизонтов; хранитель целей, к которым идет человек на земле; сберегатель закона в его принципе; - чистоты атмосферы, которою мы дышим, голубого неба, на которое смотрим и оно смотрит на нас и цветит каждое лицо собою. Он есть распорядитель соотношения всех вещей, но не создатель, не рабочий, который трудится над которою-нибудь, к ущербу для других или без ущерба, но всегда - без ведения их общего соотношения. Мы сказали, что он - вне бюрократии; вне деталей управления, не сливается разумением и желанием ни с которою из них. По отношению к

ним всем - он лишь оценитель, отмечающий одно, ускоряющий другое, указующий как цель - третье. Он - впереди управления, разыскивающий пути для него, но оставляющий в этом разысканном пути осматриваться избирать, где и как поставить ногу - самим идущим**. По этому положению своему, он - мы сказали - и стоит в народе своем, "земле", стране, для которых светит небо, охраняется чистота атмосферы, блюдет закон. И, стоя среди их, имея угол зрения на все вещи тот же, какой существует для земли, он с нею не может встретиться, столкнуться. Мы хотим сказать, что революция при этой объясняемой нами полноте монархии - невозможна, и это по другим причинам, чем на какие мы указывали выше: там, мы говорили, мысль о ней ненавистна каждому, потому что в монархе он видит отражение собственного исторического значения и его лик для него священен; здесь - потому, что угол зрения у них один, что нет более ничего, что бы их сталкивало, - противопоставляло друг другу, заставляло бороться. Мне тем лучше, чем необъятнее его власть; это - не власть более опекуна надо мною, который может быть своекорыстен, и особенно может быть неприязнен ко всякому движению подсмотреть за его действием, предложением, намерением. Он - это я сам, но только могущественный; то же высматривает он, за тем же следит; та же у него боль как у меня; о том же тревога.

* Т.е. в идее, в смысле, который мы здесь вскрываем; в ожиданиях народных, в требованиях истории.

** В настоящее время, когда даже вопрос об отнесении на облигационный или эксплуатационный капитал расхода в несколько тысяч частным акционерным обществам восходит к санкции Монарха, он есть, точнее выставлен, как виновник всех неправильных действий администрации (ибо есть самый могущественный соучастник каждого действия), виновность же собственно администрации, которая в действительности все решает, точнее - все подсказывает, обосновывает все решения (ибо держит в руках своих знание всех деталей и хода дел) - скрадана, затенена.

XVI

Свобода для чистого, возвышенного, благородного - *implicite* уже заключена здесь. Она оскорбляет часто бюрократию*, и, насколько нам приводилось наблюдать, оскорбляет иногда ее и теперь. Это был гнев Акакия Акакиевича, полузавистливый, полунеобъяснимый, всегда немой и однако могущественный, на проходящий мимо образ Гамлета, маркиза Позы. О, тут

очень много было боли, и мы не все в ней можем, не все в силах осудить: тут была боль за свой скорбный вид, скрюченную за столом фигуру, боль за это перо, торчащее за ухом, когда оно могло бы, и в лучшем виде, быть на шляпе - боль за униженное свое положение на земле... "Ты даровит, а мои мысли так медленны, - как я ненавижу тебя!" - "Ты видишь, едва взглянув, когда я потерял зрение в рассматривании и все-таки ничего не различаю, - как мне противен твой вид!" - вот постоянное, повсюдное чувство в этих темных, серых, с выцветшим цветом лица, фигурах: боль о себе, о природе своей униженной, об оскорблении, которое они получили уже в рождении. И эта боль, эта скорбь, это нервное клочкотание неутолимого раздражения, - извне оно давит собою, а внутри себя глушит все живое, светлое, доброе... Без причины разве, что всюду, от прошлого века, от времен энциклопедистов еще, - в Париже времен m-me Сталь как и в Москве времен Фамусова, - мы видим в стороне от нее все гениальное, талантливое, все наконец порывисто благородное, одновременно пышущее негодованием и вместе теснимое... Это - сонм Акакиев Акакиевичей с глухим бормотанием наступает на жизнь; фалангой от Сены и до "недвижного Китая" они смыкаются над живым духом; они не могут ничего ему противопоставить, они не хотят оспорить; они хотят подавить, чтобы... не столько жить, но хотя бы существовать без оскорбления, без боли, без этой угнетающей мысли, что на земле они - не лучшие.

* Как ни удивительно, как это ни мало вероятно, но это так: орган административный, занятый выполнением в жизни страны какой-нибудь функции, не только вообще не ищет людей, ее способных наилучше выполнить, но часто тяготится ими как живым и резким укором для человеческих слабостей остального "служебного состава". Здесь можно бы привести разные примеры, но, оставляя в стороне сомнительное и не яркое, я приведу факт, который способен удивить и смутить мир. Кто бы мог поверить, что уважаемый целою Россией, человек исполненный религиозности, преданности церкви, любви к земле своей, наконец, высокого образования, известный Серп Ал. Рачинский, был лишь с большим трудом и ясно выражаемым неудовольствием допущен к школьной деятельности в своем родовом имении Татеве (Смоленской губернии); что у него (читавшего лекции ботаники в Московском университете) было потребовано, чтобы он предварительно сдал экзамен по установленной программе при местной прогимназии (в г. Белом), и это требование было повторено относительно его помощника, г. Н. Горбова, филолога Московского университета. И, наконец, когда все эти несколько унижительные требования были выполнены, -

придравшись к неправильному устройству при его школе отхожих мест, местная администрация, едва ли без требования из центров управления, требовала или перестройки этих мест по своим планам, или вовсе закрытия самой школы; и, без сомнения, нужно было именно это последнее. Так мне передавал сотрудник г. Рачинского, законоучитель от. П. Младов. Так драгоценная для всей России Татевская школа была не ценна, не нужна, презираема и гонима только одним в ней органом... тем самым, которому она и служила так совершенно. Много лет спустя, я с удивлением встретил также Целой России известного моряка-писателя в мундире полицеймейстера совершенно сухопутного города. Я указываю эти факты, которые каждый легко пополнит, оглядываясь на жизнь; и, на них основываясь, настаиваю, что умный и радетельный делатель обычно не нужен и даже не терпим в специфическом органе этого именно делания при административно-бюрократическом строе государства. Это, конечно, возможно при условии, что орган за общий результат своей работы не ответствен ни перед кем, кроме немощного общества, даже не могущего закричать; и во всякой детали делания прикрыв санкцией высшей власти.

И когда ничто, кроме дела, не будет оберегать этот могущественно-бессильный сонм; когда тень Монарха, так часто из-за него страдальческая, не будет прикрывать немощь и индифферентизм его - тогда, бессильный подавлять вне себя, он и внутри себя, ввиду от него ожидаемого, с него требуемого, наконец примкнет мыслью и вниманием к делу. Он - свободен в средствах; никто более не вмешивается в детали тысяч совершаемых им дел; но строгие стражи - Царь и "мир" - блюдут и оценивают, достигнута ли цель. Жажда ее достигнуть будет, наконец, искрения в них; потребность ее достичь - настоятельна; и не одни только покорные, хотя бы и неспособные (как теперь), но, напротив, хотя бы и неудобные, но только бы даровитые, будут привлекаться в себя этим правящим механизмом, более не оправдываемым, не прикрываемым, но повсюду, в каждой точке своего действия, контролируемым.

XVII

Свобода печати в ее облагороженных, не развращающих формах, и свобода мысли - не менее содержится в самом понятии этой бесконечно-усиленной монархии: ведь указывать зло, при этом новом положении монарха, значит открывать ему и "миру", что они желают видеть; требовать -

значит высказывать нужду, которую они хотят знать. Теперь указывать зло - значит высказывать ропот на управление и, косвенно, - упрекать монарха, который прикрывает собою управляющий механизм; а требовать - значит быть недовольным тем, что дано, когда давшая рука ожидала, что уже дано достаточно. Критика всякой детали управления оскорбляет теперь невольно Монарха, и это как больно ему, так доставляет злорадное удовольствие всякому критикующему, и часто единственный способ для него чем-нибудь выразить ему причиненный вред, ущерб, неудобство. Эта же критика, - чем она может оскорбить единственного всесильного гражданина, которым есть монарх? он - более не чиновник; он не чиновник ни к какой стороне своего бытия; он - синтетический смысл истории, любовь, сокровище наше, и вовсе не вьючное животное, которое мы бьем, когда оно дурно несет положенную на него ношу.

XVIII

"Le roi gouverne", "le roi regne, mais ne gouveme pas" ["Король правит", "король царствует, но не правит" (фр.)]... какие жалкие формулы, какое узкое колебание смысла монархической власти между сытым и необъяснимо-почтенным неделанием и между нервной работой, кочегара около паровика, который вот-вот взорвется. Наш царь - живет: он живет жизнью абсолютно несвязанною ни перед кем на земле, но только в совести своей - перед Богом; и вид, образ, красота его жизни есть закон для жизни людей. Он соизволяет и не соизволяет - на принципы жизни; он блюдет, чтобы эти принципы соблюдались; страна в несвязанном голосе своем открывает ему истину об этом применении. Для всякого человека - это было бы высшее на земле; это - прекраснейшее, чем мощь на какое-нибудь дело, победу, завоевание, детальное законодательство; истинно священное. И вместе - это совершенно соответствует тому происхождению царской власти и темному разумению ее смысла народом, на который мы указали: ибо для чего же было бы следы всякого великого события в истории отлагать на главу одного, как не с ожиданием, что здесь, на этой главе, они когда-нибудь отразятся некоторым драгоценным, для всех нужным, никем в индивидуальности не обладаемым, смыслом.

XIX

В кратких строках, посвященных теме, которая требовала бы томов, мы не можем выразить свою мысль иначе как только полупамятками. Озабоченность Генерального Штаба двумя непогашенными марками в Узун-

Ада послужила исходною точкою наших размышлений; чередуя мысли и факты, мы дошли до утверждения, что истинное содержание монархической деятельности есть охранение принципов жизни. Чтобы пояснить, что именно мы разумеем под этим, мы приведем, заключая свои размышления, факт столь же мелкий и характерный, и даже из круга деятельности того же учреждения... Все размышляя о степени безопасности, распространяемой на стогна "Северной Пальмиры" и на раскинувшееся у ног ее отечество монументальным Штабом, я переносился не раз к славным именам, так и этак с ним связанным. Столь жаркий спор, возникший недавно на страницах газет и журналов о заслугах одного из них, Тотлебена, перенес меня к "Белому генералу", который эти заслуги так горячо и, кажется, компетентно оспаривал... "Белый генерал"... и мое сердце так же почти нежилось, как и всякого патриота, произносящего это имя. Я вспомнил даже длинные стихи, когда-то мне продекламированные одним патриотом во время перехода по узким мосткам, весною, через Неву; собственно, я припомнил из них лишь одну строку:

Архистратиг российских ратей...

раз или два раза или пять раз повторяющуюся в стихотворении, и более ясную, чем его остальной смысл. Я был еще под музыкой этих стихов, когда, придя в свою канцелярию (в Петербурге всякий приходит в свою канцелярию) и начав дочитывать очень горячо написанное и тоже не совсем ясное "отношение", я вдруг встретил имя мною чтимого генерала. Я очнулся, протер глаза и перечитал еще:

"...Во время Ахал-Текинской экспедиции генерал-адъютант Скобелев принял на себя инициативу по выписке из России проституток, ввиду вредного влияния отсутствия их на здоровье нижних чинов, - и хотя этот расход не имеет, по-видимому, никакой связи с экспедицией), но тем не менее истраченная для сей цели сумма едва ли была обращена в начет на командующего войсками. Совершенно в таких же условиях находилось строительство дороги, организовав при батальоне хор музыки...".

Я посмотрел на подпись: "Заведывающий постройкою Закаспийской военной дороги, Генерального Штаба генерал-лейтенант Анненков. 29 января 1887 года".

Я задумался. Так странно:

Архистратиг...

и эта озабоченность здоровьем солдат в одном известном отношении; может быть, также, - и здоровьем несколько высших особ, нежели только "нижние чины". Ведь известно, желудок в генерале и солдате, в мужике и принце, одного хочет. И я остановился на этой желудочной стороне действительности. Я вспомнил о всеобщей воинской повинности, о которой давно и упорно размышлял, не находя исхода: ведь брак она отодвинула от 21 года, когда он постоянно и повсеместно, обычно заключался в крестьянстве нашем, в обширных и глубоких недрах народа, по всем вероятностям*, уже последнего в истории. Что эта реформа дала стране - понятно; но что унесла она?.. И не любопытно ли: вот эти строки, по которым небрежно бегут глаза моего читателя, строки писателя светского, чиновника незначительного, являются первым... не протестом даже, но только указанием на разрушение обычая такой значительности - в стране христианской, где заповедь о целомудрии поставлена между заповедью о непролитой крови ближнего и неотнятием у него собственности, несколько ниже первой и выше, значительнее, неприкосновеннее второй...

* По истощенности в исторической жизни всех арийских и семитических племен. См. рассуждение "Место христианства в истории". М., 1890 г.

Мы хотим этим сказать, что в странах цивилизованных и христианских главное, чем живет человек, что сберегает его, наконец - его святит, как некоторое особенное на земле существо и что мы назвали "принципами жизни" - не только не блюдет, но и не возбуждает с чьей-либо стороны определенного вопроса. Их не нащупывает "государство" грубою рукой; даже не напоминает о них церковь; и если они разрушаются, то сословие юристов, облепившее "отечество" свое по линиям всех его органов, всех функций, может лишь улыбнуться, и, самое большее, попользоваться около этого нарушения...

XX

И вот эта ничья не озабоченность тем, что уносит одна и другая практически-нужная мера из самых принципов бытия человеческого, не может не озаботить, наконец, вдумчивого человека. Жизнь течет... в сущности кем руководимая? чем оберегаемая? даже кем предусматриваемая

в своих поворотах? Мы назовем, наконец, факт колоссальной значительности, - назовем то грязное небо, которое нас всех грязнит, то печальное "общее" обстоятельство, из-под действия которого никто не умеет вырваться: вот перед нами фазис буржуазной цивилизации, затянувшийся уже век, вызывающий революции, потрясающий троны и уже один из них уронивший... ну, и кем же он был обдуман, остановлен, ограничен, когда начинался? чьи вызывает силы к борьбе против себя, когда господствует? Где монархия, где епископы? где министры с их озабоченностью? Где вопль сожаления или гнева, если уже не доставало силы мышц, чтобы его остановить? И зачем народам эти слепые или индифферентные силы, оплачивающие марки в Узун-Ада, за Узун-Ада посылающие транспорты женского мяса, когда и Узун-Ада и все вокруг его колеблется, теряется в своих основах, еще держится сегодня и, вероятно, завтра будет поглощено бедами, которые, однако, уже сегодня предвидимы?..

Но мы входим в темы, к которым не хотели возвращаться - о неуловимых умалениях и возрастаниях того и иного в истории. Если, в самом деле, прикащик и процентщик делают завтрашний день истории, - ну, значит, они, без имени, без легионов за собою, без крестов и хоругвей впереди себя, и суть герои истории, Колумбы, - выходящие на новый материк и им овладевающие; а эти, с опалыми хоругвями, обессилевшими крестами, окоченелыми недвижимыми легионами, какие бы еще мины ни делали и каким бы фимиамом льстивого и усыпляющего курения ни окружались - только изгнанники истории, истребляемые племена Гаити и Мексики, которых тайно уже и теперь, сейчас, оставляет все рассудительное и живучее... Монарх более не полный - есть и никакой; если он не центр, координирующий в себе явления жизни народной, то он и не орган который-нибудь в ней, хотя бы и пытался стать таковым. Он снял некоторые блестки из венца своего, - время разнесет остальные; он коснулся святого, таинственного омофора над собою - и не убежит, не спасется, не уклонит головы своей...

20 мая 1895 г. С.-Петербург.